

ВЛАДИМИР ХИЛЬКЕВИЧ

ЗАДЕРЖАТЬСЯ
У ВОРОТ
РАЯ

РОМАН О ЛЮБВИ В НОВЕЛЛАХ



Владимир Хилькевич
Задержаться у ворот рая

«Четыре четверти»

2020

Хилькевич В. П.

Задержаться у ворот рая / В. П. Хилькевич — «Четыре четверти», 2020

ISBN 978-985-581-234-1

Журнальный вариант романа был опубликован под названием «Люди божьи собаки». Он повествует о непростых людских судьбах. К главной героине Василинке, матери большой семьи «рыжиков», пережитое приходит видениями: поднятые кулаки над старшей дочерью, которой село не может простить связи с женатым мужчиной; мотыга в руке сына, защищавшего семью; «художества» других сыновей не радуют сердце женщины. Беспокойно ей за младшую дочь, эта «вещь в себе» даже на собственной свадьбе показывает свой нрав. Все они дети войны, и каждый по-своему пострадал от нее. А мать, деревенская знахарка и сказочница, долгие годы ждет мужа. По злему навету его «замели» еще до войны. Но цыганка нагадала, что живой... В романе, как в жизни, много и грустного, светлого и по-настоящему смешного. Сердце читателя успевает отогреться.

ISBN 978-985-581-234-1

© Хилькевич В. П., 2020

© Четыре четверти, 2020

Содержание

От автора	6
Вместо предисловия	7
Пролог	8
Поругание хлеба	12
Она сама. Ее утро	16
«Не плачь, не плачь, моя миленькая...»	21
Старшая дочь	26
Старшая дочь. Продолжение	30
Старший сын	33
Потусторонность	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Владимир Хилькевич

Задержаться у ворот рая

Роман о любви в новеллах

Отцу, простому сельскому учителю, и матери – жене простого сельского учителя, которые в любви даровали мне Жизнь, Веру и Надежду, посвящаю. Каждый день я смотрюсь в их глаза. И знаю, что виноват, как всякий сын.

Автор просит господ мужчин читать не торопясь, как они читают наставления по рыбной ловле на спиннинг или инструкцию по устройству своего автомобиля, а любезных дам (во избежание обид, что не предупредил) – запастись носовыми платками.

Читать надлежит медленно, впитывая волшебный бальзам для души.

Восточный мудрец

© Хилькевич В., 2020

© ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2020

От автора

Не пытайтесь меня убедить, что добрые люди, живущие в моей лесной стороне, отгорождаясь Неманом и Бугом от Европы, а Днепром с его притоками и Западной Двиной – от Азии, хоть чем-то отличаются от всех остальных землян. Что они менее кровожадны, чем индейцы Амазонии. Или менее любвеобильны, чем обитатели Шампани. И поэтому якобы не заслуживают внимания читающей публики. Не верьте, что кровь у них не настоящая, да и слезы тоже, и они такие «памяркоўныя», мягкие, что из них можно вить веревки... Да, у них в головах свои тараканы, как и у любого другого народа. Этим они и интересны.

Как и должно, у них своя речь (ох, какой у них язык!), над которой иные подтрунивают. Доставшаяся от прадедов, украшенная «бантиками» сказаний и легенд, песен-стонов, прибауток да поговорок, примхов, ворожбы, заклинаний и прокленов, она впитала столько словечек, а порой целых говорков приграничья, что иногда теряешься: кого же тебе Бог послал навстречу – словоохотливого россиянина, гонорливого поляка, брата-украинца или свата-литовца? А потом подумаешь: а кому от этого хуже? «Трасянка» роднит всех, особенно если на ней объясняться за доброй чаркой.

Да, это правда, в пылу ссоры они не хватаются за топор, как горец за острый кинжал. (Хотя бывают исключения, но об этом чуть позже.) Как правда и то, что они хитры, а значит, мстительны. Прижимисты и любят приbedняться? Но таковыми их сделала жизнь на семи ветрах. Равно как и сговорчивыми. А вот что сделало мягкими и по природе деликатными, не знает никто.

Они не поведают вам горькую правду прямо в глаза. И если эта правда будет не в вашу пользу, постараются обойти вас стороной. Так и скажут: «Не трогай дурака». На их языке это прозвучит как: «Не чапай дурня. Абы тихо».

Вот-вот, «абы тихо». Это едва ли не главный жизненный принцип моих земляков. Хорош он или нет, можно спорить хоть целый день. Но давайте договоримся воспринимать их такими, какие они есть, с этой их выстраданной веками философией выживания. И тогда автор сможет обещать вам кое-что интересное.

И еще. Сушая мелочь. Все образы в романе собирательные, а возможные совпадения – случайны. Поэтому благодарности или претензии не принимаются.

А если кто редкий узнает себя или, еще реже, своих близких или знакомых, то пусть согласится, что портрет написан автором с великой симпатией и даже любовью. А на любовь не обижаются.

*Али без доли меня мамочка родила?
Куды пойду, куды пойду – доли нету.
Может, в море моя доля потонула?
Может, в гае моя доля заблудилась?
Или с девками на улице взгрустнула?*

*Если в море потонула – покажися.
Если в гае заблудилась – отзовися.
Если в поле – цветом красным расцветися.
Да на улице широкой разгуляйся.
На меня, на молодю, не забывайся...*

Из народного

Вместо предисловия

Первым это удивительное, странное, странное, ни на что не похожее сияние – голубовато-желтое, временами розовое, которое на исходе ночи обозначилось локально и на него в общем-то можно было не обращать внимания, заметил экипаж патрульного самолета, выполнявший рутинный облет лесов. Легкокрылый самолетик на всякий случай сделал круг, сияние не встревожило хмурых усталых мужчин в шлемофонах, даже отдаленно оно не напоминало лесной пожар. Патруль проследовал дальше, в сторону глубинного Полесья.

Новый для себя объект засекли и спутники. С их немыслимой высоты они увидели ласковый свет, слабо струившийся над утонувшей в темноте деревушкой и осеняющий ее. Передали картинку военным, дежурный офицер ничего не понял, но все равно сделал запрос в оперативный центр. Главный компьютер помедлил и ответил, что Это по своим параметрам приближается к христианскому пониманию света, исходящего от лика святого. Офицер посмеялся удачной шутке и потянулся к термосу с кофе.

Одинокий всадник в ту глухую волчью пору шел наметом среди ясной звездной ночи на гнедом звероватом жеребце. Мужчина остановился, настороженный. Выправка, манера держаться в седле выдавали в высоком худом старике человека военного в прошлом, хотя его длинное дряблое лицо потеряло былую властность, а взамен приобрело хитроватое усталое выражение.

Потом всадник решил, что в каком-то из домов зажгли лампу дневного света – людям пора было вставать. Даже померещилось, что именно эту деревенскую улицу он уже видел в своей минувшей, проклятой им самим жизни. Лишь высморкался да витиевато ругнулся севшим голосом, тронул измочаленную, в узлах, веревочную уздечку: «Н-н-но, краса моя!» Этот свет беспокоил его, и желание быстрее от него отдалиться возрастало. Поискал взглядом запорошенный облаками Млечный Путь – ему нужно было туда, на юг. Под тяжелым мохнатым копытом гулко выстрелила сухая ветка, конник упал на свалывшуюся гриву и пришпорил своего верного Люцифера.

Забытое всеми этими случайными людьми сияние осталось, но самые внимательные жители потерянной в полях деревушки видели его еще долго и удивлялись. Главным образом тому, над **чьим** домом оно появилось. Над совсем простой приземистой избой, толстые позеленевшие бревна которой срублены внахлест, а углы выступают намного больше, чем в иных хатах. На углах там сохнут вязанки чеснока – лучшая защита от нечистой силы. За оконным стеклом, на потрескавшемся подоконнике, угадываются вазоны с огненной геранью, голубенькой фиалкой и молодым зеленым фикусом, чьи широкие листья закрывают людям белый свет.

Однако не все согласились со святостью хозяйки, и ночью кто-то измазал ей ворота дегтем. Наверное, это были те, кто считал бедную женщину рыжей колдуньей, даже ведьмой. Кто помнил, как легко эта левша усмирила целую деревню, а то и сам принял участие в марафонском забеге по созревшей ржи.

А может, это были злопамятные мужчины, которых некогда она не пустила в свою постель? Или дети тех редких, кого приняла? Впрочем, мало ли кому она могла перейти дорогу за свои бестолковые и удивительно полные сто лет. За такой срок надоест и святая.

Пролог

Если ехать Варшавкой – старым шляхом, который пересекает всю Белую Русь с запада на восток, то сразу за славным городом Слуцком, за двумя речулочками, тихо и неприметно струящимися в широких полях – Случью и Весью, можно увидеть в стороне от шоссе обсаженную березами деревеньку хат на сто, а на ее улице, будними днями почти пустынной, – одинокую старуху в фиолетовой затертой телогрейке, привычно сидящую на скамейке у железных, поставленных сельсоветом ворот.

Деревушку над мелким голым яром в окрестных селах так и зовут – сельцо с бабою, хотя есть у нее свое имя – Красная Сторонка, приобретенное в пору великих перемен вместо архаичного Яковина Гряды. В обиходе можно встретить все эти три названия, они странным образом уживаются и между собой не конфликтуют.

У ног старухи щиплет траву грязно-рыжая тощая коза, а за спиной женщины, на толстом бревне, что больше других выступает из позеленелого и растрескавшегося угла хаты, дремлет ярко-красный петух. Время от времени он вскрикивает хриплое «куре-е», и только после долгой передышки договаривает стеснительное «ку». Над петухом, на углу, видна табличка, тоже выблеклая и потянутая зеленью, как сама стена, с едва различимой неровной надписью краской «С багром». Иногда старуха протягивает за спину руку с хлебными крошками на ладони, и петух осторожно их склевывает.

Свои коричневые руки, чуть выглядывающие из рукавов телогрейки, женщина держит на суковатой палке, на них опускает обтянутый высохшей кожей подбородок, и потому сидит неловко, согбенно. В ее облике угадывается что-то неуловимое от деревенского Емелюшки. Виною – простоватая улыбка и неизменное: «Куды-ы ты?», – которым она всех встречает. Женщина смотрит на свою Красную Сторонку неожиданно ясными глазами, и на фоне унылого, осевшего дома с дремлющим петухом, унылой таблички с мало кому теперь понятной пожарничкой надписью, унылой же старушечьей фигуры одни они только и светятся под редкими в наших краях, удивленно уходящими вверх бровями.

Улыбка и ясные эти глаза как будто живут сами по себе, мало отвечая за брненное, гнущееся книзу тело. И свое «Куды ты?» она произносит неожиданно живо, хотя и несколько протяжно: «Куды-ы-ы ты?» Иногда выкрикивает его, если нужно спросить человека, идущего на другой стороне улицы, едущего мимо в громыхливой телеге или дребезжащем «Жигуленке».

Летом ее бессменное дежурство не удивительно, но она на своем посту и зимой, теперь уже без козы и петуха. Кутается все в ту же фуфайку, ежится на сквозном ветру, скатившемся по грунтовой дороге с недалекого погорка и разогнавшемся в створе длинной улицы. Не спасает от стужи и маленький желтый деревянный кружок от детского унитаза, привезенный кем-то из внуков, она всегда носит его под мышкой и подкладывает под клетчатую юбку, пока сидит на скамейке. А когда холод пробирается к спине – встает с трудом и затихает, опершись на палку, – ей кажется, что стоять теплее.

Иногда, чтобы согреться, позволяет себе короткую прогулку к соседским воротам в одну сторону и к воротам в другую, не дальше. И лишь однажды зимним вечером ее видели на близкой Новой улице, где во дворе кирпичных коттеджей внимание старухи привлекли детские качельки, и она с трудом втиснула свое сухонькое тело в фуфайке в их красное железное сиденье и немного пораскачивалась взад-вперед, отталкиваясь от натоптанного снега палкой. Ощутимо мерзла, но не могла оторвать глаза от звездного необъятного шатра над головой и шептала благодарно:

– Храша, так жа храша. За что нам таки подарок? Стольки зорачек... Не заслужили. Это ж Господня милость людям. Так украсил нам жизнь, так украсил...

Козу на зиму она продает – кормить нечем, не запасают. А петуха они с сыном-бобылем сьедают с первыми морозами, чтобы своим заполошным куреканьем не будил сумеречным зимним предраньем, когда никуда не нужно спешить и каждый лишний утренний час мучительно сладок.

Нового крикуна весной приносит ей брат, такой же глубокий старик, живущий на другом конце села, а рыжую козу она покупает сама на вырученные за прежнюю и спрятанные от сына деньги – к началу мая, когда на обочинах канав проклюнется молодая трава, а на деревьях исходит горьковатым соком кора. Горькие жизненные соки бродят во всем живом, она их чует и они ее тревожат. Концом палки старая женщина давит, рвет новую траву у себя под ногами, и тогда снизу тянет тонкая чемеричная струйка запаха, и она ищет, ловит ее заострившимся носом.

Искоса подолгу рассматривает высоко-высокое рябиновое дерево в огородчике, покрытое блекло-желтыми нежными бутонами, словно рябину занавесили тонкой цветной марлей. Эта рябина весной не дает ей спокойно сидеть в хате. Желтое, даже оранжевое под лучами встающего солнца, дерево лезет своим огнем в окно, добавляя света в доме. И она торопится выйти на улицу, чтобы согреться у его холодного пламени. Когда-то и сама она была огненной, рыжей, да те времена прошли, сотлели.

Целыми днями в кроне заневестившегося дерева роятся и тяжело гудят пчелы. Иногда рядом с женщиной повисает какая-нибудь зеленая мушка и звенит подолгу, то отдаляясь, то снова зависая у самого плеча.

К старухе подойдет поговорить соседка, если есть свободная минута. Три раза в день повернет со шляха, проплывет мимо рейсовый автобус, провозя за широкими окнами людей. Мало кого из них она знает – молодняк; ровесники, если и живы, в город уже не ездят. Профырчит легковушка колхозного старшины. Следом за ней бросится бригадир, сжимая толстыми коленями низкорослый трескучий мотоцикл. Просигналит ей, не поворачивая головы. Да снуют взад-вперед грузовики сразу трех колхозов, оседлавших общую наезженную дорогу. А чаще почти неслышно пылят красные и голубые «жигулята» сельчан.

Вот и выходит, что жизнь по-прежнему своим крылом ее опахает, не дает себя забыть. А старушонка и не хочет забывать, иначе с чего бы такими ясными оставались ее глаза и зачем ей тогда выпрашивать каждого встречного-поперечного: «Куды-ы ты?»

И все же, если изредка находился человек, которого хоть как-то интересовали эти глаза и он заглядывал в них – обжигала застывшая на самом доньшке острой льдинкой негромкая, ненавязчивая старухина грусть, и становилось понятным, что женщина своим ежедневным сидением на виду у села силится зацепиться за уходящий день, задержать его еще немного.

И улыбка, такая знакомая всем этим выглядывающим из кабин, приветствующим ее по утрам от соседских ворот, сжимающим коленями свои трескучие мотоциклы, та самая улыбка, которая родилась, когда многих из них еще не было под солнцем ласковым, стала за последние годы меняться. Что-то просительное появилось в рисунке женских губ.

Самые внимательные могли догадаться, что у нее на душе. В глазах читалась простая и ясная мысль: «Погоди, торопливая жизнь. Не спеши забирать ключи от своего зеленого дома. Я привыкла к нему за все отпущенные мне годы и считаю своим. А если так положено, что надо уходить, то дай хотя бы собраться: насмотреться на тебя, ненаглядную, поцеловать взглядом каждую светлогривую головку из тех, что подсолнухами прорастают по утрам в соседних дворах, а затем выкатываются на улицу и смотрят на меня, старуху, испуганными глазенками, как на невесть зачем завалившийся за печку драный чулок – что за проява эта бабка? Дай надышаться хоть пылью неедкой, мягкой, хоть утренними росами – ты же знаешь, раньше не до них было, дышала и то через раз. Все думала: потом поживу, после вдоволь наживуся, аposable, ага...»

Водились за ней странности. Зимой она выносила и вешала на угол дома динамик, продевая провод через приоткрытую и провисшую на одной петле форточку. И если передавали музыку, то дремала под нее, привалившись спиной к забору и открыв щербатый старушечий рот. Если диктор читал новости – настороженно поднимала руку к уху, словно просила не так громко шуметь соседу, рубившего дрова у себя за колодцем, а проезжающий по улице трактор – не так громко тарыхтеть. Слушала, запоминая, и потом подолгу повторяла вслух: «От як, от як».

Пересказывала новости вечно пьяному Лёдику, при этом перевирала названия стран и фамилии политиков. Борис Ельцин числился у нее Ёлкиным, Горбачев – Райкиным мужем. А Фидель Кастро и его брат Рауль были Кайстрами. Америку она звала Амэрыкай, французов – пранцузами.

Когда началась война на Украине, новости о ней она слушать не могла. Всегда нервничала и даже плакала. Поэтому Лёдик делал трансляцию максимально тихой или выключал вовсе.

Летом она позволяла сыну унести радио в дом: ненасытно слушала, о чем кричат на улице дети, голоса соседей во дворах, звон пчел в кроне рябины и веселую птичью склоку.

Как-то незаметно для других, а может, и для себя, старая женщина за много лет одинокого сидения научилась разговаривать сама с собой. Если послушать со стороны, то – про погоду, козу и деревенские сплетни, и опять про козу. Потом приноровилась сама себе петь – когда тихо, а когда и громче. Посидит-посидит, и вспомнит, как всхлипнет:

*Ай у Слуцку на рыночку мужик жонку бье.
Бье и плакать не дае-е...*

Песен старых она знала много, только петь не высиливалась. Больше проговаривала – протяжно, даже чуточку лениво. Или устало. Иногда принималась рассказывать сказки. Если бочком, бочком подходили малые соседские дети – умолкала. Но они подходили к ней не часто. То ли бодливой козы боялись, то ли самой хозяйки. Им казалась жутковатой эта бормотливая и всех задирающая бабка, а сказок хватало по телевизору.

При взрослых она тоже умолкала, переводила разговор. Издали видно было: что-то поет или бает, но подойдешь – кричит встречу: «Куды-ы ты?» И вот уже сбилась, замолчала, ждет, что ответишь. Различив в глазах человека недоверие, махала рукой и смеялась: ды не, не чокнутая.

Привыкли. Но не все поняли, что старуха не с собой, а с детьми своими – живыми, да и с теми, кого уже нет на белом свете, – беседы беседует. Им деревенские новости да сказки рассказывает и песни проговаривает, словно долг какой возвращает, сказочный долг.

В этом смысле больше всех повезло Лёдику, младшему сыну, пьянице и пожизненному калеке, который из всех братьев и сестер один и жил в родной хате. Песни и сказки, обращенные в детство, слушал он.

А по осени, когда въедливые бесконечные дожди прогоняли с улицы, она садится в полутемных сенях на давно освободившуюся железную кровать. Когда-то на ней Алексей спал, старший из сыновей. Он и теперь, приезжая из города и оставаясь изредка на ночь, устраивался здесь, по-солдатски, ему нравилось. Кровать привалена тряпьем, на ней валяется старая шинель без хлястика, кисловато пахнет овчина тулупа. Рядом, на полу, прислонились друг к дружке два залатанных мешка с остатками комбикорма и ржаной муки. А вдоль стены на деревянном ящике с ядовито-зеленой слущкой берой стоит такой же ящик с желтой медовой антоновкой. И эти два запаха – дозревающей беры и вполне созревшей антоновки, витают вокруг нее и лечат душу.

Садится на теплую в любую погоду, кучерявую светлую овчину тулупа и слушает через открытую настежь дверь сеней шум дождя и слабеющий с каждым днем шорох мокрой листвы

в саду, и подвывы ветра, и гул тудяг-грузовиков. И пронзительно-тоскливые прощальные крики улетающих за тридевять чужих земель птиц.

Отсюда, из-за толстых стен, защищавших от непогоды, трудная жизнь кажется ей полной и правильной, и менять в ней нечего, за исключением каких-нибудь мелочей. Дожди и ветры не нагоняют на нее уныния, она всю жизнь прожила с ними и любит их слушать. Когда-то они здорово ей мешали, но те времена прошли. Тогда она еще ждала мужа и, вслушиваясь глухими ночами в тишину, злилась на непогоду за то, что гасит шаги человечьи, голоса за окном не услышишь, зови не зови.

Если в те годы ей казалось перед каким-нибудь праздником, когда душа отдохнуть хотела, что уж сегодня Адашь непременно придет, она с вечера оставляла дверь незапертой и полночи ворочалась – боялась, как бы в хату не ввалился кто чужой. Иногда ловила себя на грешной мысли, что пусть это будет и чужой, только бы пришел к ней с добром и лаской. Уставала ждать да бояться и закрывала дверь на засов. Так длилось много лет, и постепенно ветер и дождь сделались неотделимы от ее жизни.

Потом они стали ее выручать. Человек не может всю жизнь, ночью и днем, бесконечно думать о своих несчастьях или несчастьях детей. И когда были ветер и дождь, она почти переставала думать, позволяла отдохнуть наболелой голове и просто слушала, слушала... И не могла наслушаться. А то дремала или все вместе – слушала и дремала.

В такую пору к ней видениями приходят воспоминания из прожитого. В этих видениях нет ни грамма выдумки. Память прокручивает с большей или меньшей точностью, иногда и совсем без деталей, только то, что пусть давно, но случилось в ее жизни. Какая-то работа. Какой-то разговор. Или беда в семье, произошедшая у нее на глазах.

А если не на глазах, то представленная по рассказам. Пробитый вилами Алексей лежит себе да помирает, и грохот его автомата в чужих руках гуляет под высоко задранными юбками сосен, склонившихся над непокрытой русой головой на ярко-белом снегу. И через годы – какие-то бродяги, темным лесом увозящие его добро на скрипучей, несмазанной телеге, поворовски оглядываются, опасаясь, что погонятся следом мужики на лошадях да с топорами...

Волька, падающая под бабьи поднятые кулаки. И хряст кольев, сломанных в той вселенской драке о тупые головы яковогрядских мужиков под всеобщие крики, и Волькино циничное похлопывание по голому задку: «А накомь выкусь!..» Горящая большим жутким крестом Силина мельница, что означало только одно: село остается на зиму без хлеба, а в Яковину Гряду опять приедут ночью зарешеченные воронки, и скольких они загрузят в свое бездонное нутро, не угадаешь...

На беду им всегда везло, ей и ее детям. И каждый раз она с каждым из них восходила на эшафот и терпела вместе с ними муки и боль, позор и сором перед громадой, погибала с ними и воскресала – сначала в душе, где жила надежда, что даст Бог, все закончится добром, а потом и на самом деле...

Когда надоедает кровать, заваленная тряпьем, как ее голова – памятью, встает в дверном проеме. Сюда косые сырые струи не достают, и гукает бегущего по улице, под дождем, человека: «Куды-ы ты?»

Тем, кто отзывается, она говорит:

– Ну то иди с Богом, божий человек.

Кто не отвечает, тому вслед бросит:

– Бяжы, бяжы, усё адно не успеешь.

Поругание хлеба

Из ее сказок

Нелюдская погода, от нелюдская. И сок уже из березы закапал, и птиишечка на сонейко кузикнула, а мороз не сходить. Месяц марац отморозить палец, правда что. Зима ногу кривую Весне подставила, покатила, сверху уселася. Снегами ее припорашивае, ледяками гострыми пужае. Весница до раницы вылузается, девка она порсткая, крепкая, мало что в тело не вобралася.

Погляди, и руки у ней крепкие, и косы у ней зеленые, и груди круглые. Станет на Зиму своих брательников напускать – Теплый Ветер, Горячее Солнце, Мокрый Дождь... Поменьшее снегу, зимнина злость истает за кожный денечек.

А вечер, когда братья спать, Зима снова сверху. Мороза Ивановича угворила, подластилася к нему, себя потрогать дала – вот старый и стук-грук по земле суковатым кием, стук-грук. Где ручеек побежал – в кайданы его ледяные сажает, где сосулька слезу пустила – рукавицей шершавой оботрет. Птица первая, смелая, появится – считай, пропащая.

Барукаются, ой барукаются, дочуно. Як, не равняючы, доброе с недобрый. Наговорила я тебе сорок бочек арестантов, и все полосатые.

Ну от, а земля оттаяла. Проглядела Зима. Покойнички наши вздохнули, легкой им. Пятнами, пятнами пошла земелька – снег сходить. Не за горами и май. Май – коню сена дай, а сам с печки слезай. Всегда так говорили. В мае маялись, хлеба не хватало.

А там скоро и Микола-вешний, картошку посадим. А там и Федор-житник, хлебушко пора сеять. Хлеба посеем, дочачка. И Алена-льносейка, и Федосья-гречишница... Забывать их стали. А в районе – не, в районе начальники грамотные. Федор-житник подошел – обязательно, председатель говорил, из району загад: «Сейте збажсину, люди, будете с хлебом».

Вот видение, самое настоящее проклятие, которое мучило ее чаще всего. И поэтому заслуживает, чтобы о нем рассказали прежде других.

...Над деревней в тот святочный день курился легкий дымок – дети жгли за околицей костры, пекли молодую картошку. На улице в сарафанах и косынках праздно восседали по скамейкам бабы. Мужики к обеду успели выпить и опохмелиться, теперь дымили самокрутками у свежих срубов, а их по селу было десятка два.

Возле дома Силы-мельника дочка Силы завела трофейный патефон, менять пластинки и крутить кривую ручку ей помогали подружки-соплюшки. Подруги галдели, выводили одна другой свежим луком бородавки на ладошках, но порой сквозь их задиристый щебет все же прорывался вкрадчивый голос певички: «О, майн либе Августин, Августин, Августин...» Русских пластинок не было, только немецкие.

Василинка, тогда еще молодая, полная сил, сидела на своей скамейке на пару с Алесей Американкой, безделье было мучительно, но на Спаса работать нельзя, потому что Спас – главный, это Дажьбог. Они о чем-то говорили, иногда молчали, потом опять принимались говорить о том, что вспомнилось. Быстрые пальцы Василинки перебирали золотистую плетть косы. Ее рыжая коса, которую она на ночь разбирала, а утром торопливо заплетала опять, была

предметом ее особой гордости. Мужики всегда, она это видела, подозрительно косились на толстую золотую «змею» вокруг ее головы. А женщины на речке, в тихой заводи купальни, не могли удержаться, чтобы не потрогать влажный водопад ярких волос, ниспадавший на ее чистое тело.

Старшая дочь, непременно товарка в таких походах, всегда брала гребень и с явным удовольствием расчесывала мамкину красу, сушила мягким ручником и опять расчесывала, сушила и расчесывала. «Богатая ты, Василинка», – говорили ей бабы. И она соглашалась: «Богатая...»

И тут над улицей всплеснулся крик, кто-то пьяно выругался, группки людей пришли в движение, куда-то через огороды побежали, пошатываясь и вытаптывая гряды, мужчины, а за ними, задрав сарафаны, – по разорам бабы. Там, за огородами, смешались хохот, от которого отдавало недобрым, и ругань. Василинка и Алеся Американка не разобрали сразу, что там за такое. Потом мимо них проскочил на вихлястом обломке трофейного велосипеда, от которого остались два кривых колеса с выломанными спицами да рама, седла и багажника не было, пацаненок, горланя на всю улицу:

– Гайда! Сила Морозов и Вольгочка в жите склешились... Гайда!..

Вольгочкой на селе звали ее дочь. И тут до ее сознания дошел весь зловещий смысл происходящего, и резануло сердце оглашенное Хвисево «бей их». Путаясь ногами в уцепистой огуречной ботве, она выбежала за усадьбу и увидела, как яркое коричневое поле зрелой ржи пересекают в разных направлениях люди, по двое-трое. Ищут, поняла она, Силу и ее Волю.

И вот чей-то радостно-пьяный вопль бросил всех в одно место, и на глазах у подбегающих односельчан из ржи встали, торопливо поправляя одежды, рыжеволосая девчушка, еще ребенок, с растерянным выражением круглого веснушчатого лица, на котором удивляли почти вертикальные брови, и не старый еще, но много старше своей подруги светлоголовый мужик. И все поверили, увидев их, и почему-то оскорбились. Неизвестно, кем был сброшен импульс общего возмущения, но он сработал. Одни бросились к тем двоим с кулаками, а кто-то плевал в их сторону или указывал пальцем и громко смеялся.

Сила остудил храбрецов, двое первых высоко задрали ноги во ржи, остальные наседать больше не посмели, но и не унимались, не подобрели. Сила не обращал на них внимания, он вел Вольку через весь этот бедлам – седоватый, насупленный, как старый сокол, расправивший крылья для боя, время от времени зычно покрикивал на баб, что стояли у них на дороге. Те, хотя и расступались, языками чесать не переставали, костили почем зря, пытались ущипнуть молодичку. А сестра Силиной жены Катька Сологубиха, женщина в теле, живот топориком, дорогу не уступала, подбегом шла впереди, оглядывалась на них и вся посинела от крика:

– Сучка ты сучка, что ты вытворяешь, сучка! Начто ён тебе, стары, у него дети такие, як ты, где ж твоя голова, сучка! Еще нос не обтерла, а в жите покачалася, от сучка дак сучка...

Сологубиху поддержали остальные.

– Оно ж так: сучка не захочат, кобель не вскочат.

Тут сдали нервы у Вольки, которая до этого только тихо плакала, она повернулась к Сологубихе спиной, быстрым движением рук махнула под самые мышки длинную мятую юбку в крупную желтую клетку и нагнулась резко, выставив честному народу по-девичьи худоватые белые ягодицы. С чувством хлопала себя по этой упругой белизне:

– А от пацалуите меня в сра..!

Бабы взвыли, заплевались, захохотали, заойкали. Мужики – одни словно отрезвели, ведь и правда дело не для бригадного сходу. Другие обрадовались возможности свести все на шутку и что-то заговорили веселое. Третьи почувствовали себя оскорбленными и рванули тяжелые осиновые колья из гниловатого забора. И опять Сила не дрогнул один против всего села, хорошенько поплевал в оба кулака и доказал свою мужскую пригодность. Кол в руках у Хвися разломился о его, Силино, плечо, а сам Хвиська с расквашенным носом отлетел в сторону.

Но на Силу насели, зачастили глухие удары кольями, над застенком понесся звероватый мужской крект. Расправе мешало, что под ногами дерущихся путались те, кто хотел бы уладить все добром, в Красной Сторонке таких всегда найдется немало, и они держали Силиных противников и его самого за руки, разводили, внося еще большую сумятицу. Под шумок перетянули колом вдоль спины и Вольгочку, да так, что мать, увидав это, едва сознания не лишилась от жалости к ней. А над упавшей на колени Волькой вороньем закружились бабы, пинали ее ногами, таскали за волосы или щипали с визгом и приговорками, мстя ей – нет, не за белые ягодицы, а за что-то другое, тайное, известное только им.

Над грандиозной бойней плыло меланхоличное «О, майн либе Августин, Августин, Августин...».

Стоять и смотреть, как мордуют дочь, и привычно улыбаться всем этим людям Василинка не могла. Пробовала хватать за руки одну бабу, другую, остановить – куда там! Она не верила своим глазам, что можно при матери так бить ее дитя.

Она стала их громко проклинать, кричать им злое и обидное:

– Люди!.. Люди!.. Что ж вы робите? Авочки! Авой! Забивают. Дитя забивают. Что ясно вам зрабила? Настя, Настя, отойди от нее. Не лезь! Тебе завидно, завидки берут. Что б на тебя немоч! Кривая ты, кривеча горбатая. Ведьма!.. Зина, Зиночка, хоть ты не лезь, вой, Зина! Чаму ж ты яе за валасы? А если б самую? Злосная ты. Всегда такая была. Укуси Хвисеву собаку. Пусти ее, Гэля! Гэля!.. Дочечка моя, что они з тобой робять? Авое-ка... Что робится! Трасца вашей матары и батьку вашаму!

Ее спросили:

– Чаго ты ее боронишь? Хай попужають троха, каб больш не сучилася.

– Я боронила и буду боронить, – крикнула она и хватала людей за руки. – Я вас грызти за нее буду. Буду грызти. Святый Спас, спаси дитя мое!

Ее не слушали. Не слушали и Алесю Американку, которая одна пыталась ей помогать. Тогда, запричитав, Василинка бросилась подбегом в соседний огород, к деду Захаревичу, в надежде хоть собаку какую во дворах найти и притащить на цепи, да только умом понимала, что и своры будет мало, свора стущуется и хвосты подождет, испугавшись людской колготни. Сегодня люди сами были собаками. Они скалили коричневые прокуренные зубы, многие из них рычали, как собаки. А некоторые, особенно женщины, разговаривали отрывисто, зло, словно лаяли.

Бежала и еще думала – кого из мудрых людей позвать, кого бы послушались, может, бригадира? Не видя ничего перед собой, взбилась грудями на маленький дощатый домик на высоких ножках, едва не опрокинула. Постояла минуту, удерживая, и вдруг сама же и толкнула, повалила домик наземь. Схватила за те самые высокие ножки и поволокла в поле, к людям, слыша, как медленно закипает внутри улья, как там начинает глухо ворочаться живая масса. Отдельные разведчицы тут же выглянули проверить, в чем дело, мать ощутила их укусы, но слышала как во сне.

Перевалив домик через перелаз и приблизившись к бойне, с трудом подняла его нагруженными руками над головой, сбив косынку на плечи, и уронила на землю. Тотчас развалился ветхий улей, оттуда со зловещим гудом вывинтился в небо густой и, казалось, бесконечный рой. На добрый лад, хозяину давно следовало разделить этот богатый рой и рассадить по разным квартирам, но дед Захаревич был старый и полуслепой, а его городские дети ужас как боялись одевать на голову сетку, кочегарить дымарь, снимать крышку и лезть в улей. И сколько в нем на самом деле обитало пчелиных семей, никто сказать не возьмется.

Огромный то ли рассерженный, то ли испуганный рой стал выписывать над полем брани замысловатые фигуры, от них веяло агрессией – поначалу выстроился почти в правильный боевой треугольник и продержался так какое-то время, однако вскоре рассыпался и перестроился в толстую летающую змею, змея принялась извиваться. Вслед за тем сбился на высоте в

черный кишачий клубок, этот большой зловещий шар заколыхался, загудел пронзительно и... пал на ошарашенных людей. Облепил всякого из них и принялся нещадно жалить каждого.

Боже мой! Дорого же обошлись, ох, и дались в знаки Яковиной гряде белые Вольгочкины ягодицы. Люди шарахнулись в разные стороны. Никогда в жизни они, пожалуй, так быстро не бегали. Чей дом был близко, тот бросился к дому, рассчитывая укрыться в его стенах. Но уже в начале пути понял, что сделал это зря. Потому что и тех укусов, которые ему достались сразу, хватило бы на пятерых. Другие, а таких умников нашлось немало, вспомнили про единственно верное средство – речку, и выпрямились прямо к ней, по густой коричневой ржи, со скоростью курьерского поезда.

Может, эти и выгадали. Сразу их грызли люто, но потом отстали, а у реки и вовсе отпустили души на покаянье. Особенно если который выставил из воды полноздри, не больше. Правда, и на нее норовила опуститься не то пчелка, не то водяная муха, со страху не разберешь. Но ее уже можно было отогнать брызгами.

Василинка, с заплывшими от укусов и слез, невидящими глазами зловеще хохотала, взявши руки в боки и запрокинув рыжую голову.

– Кусайте их, кусайте! Кусь-кусь! Кусь-кусь, ото, – вошла она в раж и кричала, победно топая почти новыми мужневыми лаптями. Подняла из-под ног обломок кола из порушенного забора и огрела Арину-беженку. Та присела от неожиданности и удивилась:

– Ты шо, сказылася, пчелина мамко?

И потрусила от нее, смешно переваливаясь с боку на бок.

Тогда Василинка догнала Катьку Сологубиху, ядовитую сестру Силиной жены, повалила на землю и хватанула крепкими зубами за плечо.

– Гэто от за сучку. Сама ты такая.

Сологубиха от обиды заплакала.

Через минуту-другую поле опустело. Такой стремительной эвакуации не добился бы и эскадрон конной милиции. Когда ушел, прихрамывая, и Сила, Василинка увела растрепанную, в синяках, со свежими расчесами укусов на лице и руках, которыми она прикрывалась, Вольку. Та плакала и севшим голосом кляла село.

Никому не призналась бы Василинка, что в глубине души у нее теплилась затаенная и совершенно невозможная в этой ситуации какая-то эгоистическая удовлетворенность. За то, что пусть даже вот так, греховно, с боем и слезами, заполучила дочь свою бабью радость – чужую, осуждаемую всеми. Но сегодня она есть, а завтра будет видно.

Она сама. Ее утро

Из ее песен

*Ой, хотела ж меня мать
Дый за первого отдать.
А той первый,
Первый – неверный.
Ой, не отдай меня, мать.*

*Ой, хотела ж меня мать
Дый за другого отдать.
А той други
Ходить до подруги.
Ой, не отдай меня, мать.*

*Ой, хотела ж меня мать
Дый за третьего отдать.
А той третий
Что у поли ветер.
Ой, не отдай меня, мать.*

*Ой, хотела ж меня мать
За четвертого отдать.
А той четвертый
Ни живой, ни мертвый.
Ой, не отдай меня, мать.*

*Ой, хотела ж меня мать
Дый за пятого отдать.
А той пятый
Пьяница проклятый.
Ой, не отдай меня, мать.*

*Ой, хотела ж меня мать
Дый за шостага отдать.
А той шостый
Мальй, недорослый.
Ой, не отдай меня, мать.*

*Ой, хотела ж меня мать
Дый за семого отдать.
А той семьй
Пригожий ды весельй...
Он не схотел меня взять.*

Мужа ей давным-давно подарил праздник. А через каких-то восемь коротких лет праздник мужа и отнял.

Тогда, в первое их свято, она словно что-то почувствовала. Сон накануне видела: сокола налетели, черный шелк раскрутили, рассыпали жемчуга. Мать, та сразу ее сон разгадала. Придержала легко журчавшее под рукой веретено, подбила на прялке пушистую льняную пряжу и удивила: «Сокола – сваты долгожданные; черный шелк – твои косы, сваты будут их расплетать; жемчуга – слезки твои горючие, донечка».

Переделав к вечеру домашнюю работу, затащила за ситцевую занавеску у печи деревянное долбленое корыто и вымылась, что с ней не часто бывало среди недели. Выбежала босиком на снег, вылила воду из ведер и прислушалась. Уже повизгивали на ярах подружки и гудел гундосый Хвись. Надела чистое, принялась тереть щеки свекольным кружочком. Мать с улицы накинула на окно черную постилку, чтобы у нее было зеркало. А что там особенного можно было увидеть, в том самодельном зеркале? Веселое круглое лицо, обрамленное ярко-рыжим, даже огненным волосом, густо усыпанное веснушками, с озорными синими-синими глазами, опущенными рыжими ресничками. Да странные брови домиком, уходящие едва ли не вертикально вверх.

Набросила белый овчинный полушубок с цветными вставками, поверх полушубка лег на плечи яркий платок с махрами. Впрыгнула в валенки и была такова. Мать только успела пышку теплую в руку сунуть, а отец на дорожку наподдал ниже спины, на всякий случай. Следом Жук увязался. Пускай, веселее от доброго лая.

За селом, на голых ярах, затевалась гульба. Отовсюду – с окольных улиц, с Тониного переулка и прямо с задов усадеб возки безлошадные катят, в них парни впряжены. Федоська Макова Росинка, Ванька Гришковых, Глодово кодро. А с богатого конца деревни, где селились те, у кого во дворах было по две-три коровы и пара лошадей, не считая голосистого свинства, приехали конно Метельские – Адамусь с братьями младшими, все белоголовые и горластые; а еще три Павла – Павел Ясевых, Павел Алениных и Павел Лазаревых. Девоч набежало пока немного, прихорашивались по домам, красной свеклой натирали щеки. Среди первых – Арина Сучковых заметна была, Настя Грищикха по обыкновению визжала громче всех, подружка Лисавета издали звала рукой.

Все скопом обрушивались на каждый новый возок, и возница, не надеясь сдвинуть его с места, звал помощников. Те разгоняли сани к пологому спуску, потом валились в них тоже, и долго, пока сани ехали вниз, никто не мог понять, где чьи руки и где чьи ноги. Если который пытался разобраться, того девчата с дружным визгом выкуливали из саней, и он брел обратно, чтобы успеть в новый экипаж. Идет такой мужичина в тулупе нараспашку и дивуется звездному выпасу над головой, по синему певучему снегу ступает жалеючи и жадно хватая ртом морозовый воздух, напитанный дымами. А дымы из печных труб каждый по-своему пахнут: один – пирогами с ягодой-кислицей, другой – патрошанкой с луком, третий – первачком.

Вот появились запряженные парой лошадок большие сани-розвальни, к ним стали цеплять возки, и лошади потащили веселый, орущий песни цуг деревней, и бабы, угадывая по голосу свое дитя, выносили навстречу противни с горячими пирогами с маком или запеченными яблочными дольками. Щедрец!

Пока разбирали очередное угощенье, ее, стоявшую чуть в стороне и студившую на ладони горячий ломоть пирога от тетки Ганули, легко подбили под ноги, бросили на мягкую солому саней и стегнули каурую. За общей сумятицей это событие осталось для других почти незамеченным, сошло за очередную шутку разгулявшихся детюков. А она на тех уносящих в чисто поле санях вытащила свою крапленую карту – стала в одночасье и женщиной, и женой. Напрасно Жук кидался на широкую чужую спину в длинном, по самые валенки, черном

кожухе. На него успокаивающе махнула знакомая рука в белой, вышитой крестиком варежке, и собака, сбрехивая кипевшую злость, послушно побежала рядом.

Когда к утру возвратились, через село тянулись насыпанные золой коричнево-желтые дорожки – от девичьих порогов к домам будущих суровых свекров. Во многих дворах не доставало калиток на заборах. Днем, обнаружив их на другом конце села, чья-то матушка начнет догадываться, куда она скоро проводит свою доню.

Мимо них прошел гундосый Хвись, сгибаясь под тяжестью волглой сосновой калитки. Куда тащил – одной его темной голове ведомо было. В знак приветствия приподнял левой рукой заячий облоух над остриженной налысо, побитой струпьями макушкой. Не видел недо-тепушка, что следом, нога в ногу, идет грозный хозяин калиты старик Федосьев. Когда Хвись свалил свой немалый груз у двора бедняка-поденщика Данилы Зайца, старик разочарованно крикнул и спросил опешившего от нечаянной встречи хлопца:

– Передохнул троха? Неси, где стояла, недоробок. Нашел сродственника, едрит твою мать.

Хвися в тот праздник не везло. Связался на свою голову с Настей Грищикой, курносой вертлявой чернушкой. В одну и ту же ночь слышал Хвись Настин голос во всех концах села – она воровала с хлопцами калитки, каталась на санях, сыпала от двора ко двору дорожки из золы. В разгар веселья утащила Хвися в отцовское гумно, где у нее была прикормлена совушка. Та пряталась под самой крышей, оттуда высматривала прописавшийся здесь мышинный народ.

Подсаживая Настю с земляного тока на плотно уложенные ряды из вымолоченных снопов ржаной соломы, Хвись нарочно промахнулся. Настя молча выпутала его руку из складок юбки и наступила валенком сначала на плечо, потом на голову Хвися. По-другому отомстить не получалось, шуметь было нельзя – и совушка испугается, и отец в доме услышит.

Когда она сняла свою подружку с балки – та позволила себя взять, доверилась – Хвись подтянулся на руках за приколоченные к столбам поперечки из длинных толстых кольев и прочных досок и тоже взобрался на солому, пахнущую солнечным днем. Да тут же растрепанным кулем и съехал назад, на ток. За что Настю ссаживать не стал, пришлось ей, сударушке, спуститься самой. Покрутила у его виска пальцем, и они тихонько прикрыли за собой тяжелые ворота.

Вскоре оба крались к глухой, без окна, задней стене Слышевой хатенки, снимали с крючьев лесенку-«дробинку» и взбирались по ней на низкую соломенную крышу, поддерживая и подталкивая друг друга. А чтобы не соврать и сказать точнее, то Хвиська снизу подталкивал, а Настя отбрыкивалась.

Слыш, деревенский попугай, сносивший все новости с волости, недавно-таки женился, и родители отжалели ему трехстенку. Трехстенку «пересыпали», и получилась небольшая хатенка, без сеней, дверь с улицы вела прямо в единственную комнату. В ней Слыш сейчас и баял при лампе-керосинке свои бесконечные сказки молодой беременной жене, пока та вымешивала на припечке тесто для пирога. Сказок у Слыша было много, молодая жена заслушалась и с пирогом явно опаздывала. Другие хозяйки успели сами отведать и людей угостить, а она, видно было в окошко, все еще месила тесто белыми полными руками да оглядывалась улыбочиво на своего баюна. К постоянному покашливанию мужа она привыкла и не обращала внимания.

На крыше Настя и Хвись дотянулись до печной трубы, положили на нее толстоватую льдинку, вынутую из лужицы в огороде, на льдинку усадили совушку с перевязанными крыльями. Настя сказала ей магические слова «Сиди тут, жди зернышек». Слезли и стукнули в шибку. Слыш взгляделся в окно и махнул рукой: заходите. Настя с Хвиськой зашли, потекла мирная вполне беседа: а где это ваши пироги, а дайте-ка отведать, как это нет, вот что значит недавно из-под венца, чем это вы тут весь вечер занимались?..

Разводили тары-бары, пока теплый дым не истончил льдинку. И вот в трубе закапало, потом потекло, наконец зашуршало, и хозяйка еле успела отшатнуться от печи. Совушка шлепнулась прямо в тесто. Вся в саже, черная, она медленно тонула в деже, но бодро вертела блюдами глаз. Слышева хозяйка окаменела от испуга, сам Слыш осел на колени к Насте Грищике, и та успокаивающе его поколыхивала. Хвись в своем дурацком малахае валялся на земляном полу, затекшись хохотом, хрипел что-то невнятное и сучил ногами в новых липовых лаптях.

Наконец все опомнились. Слыш выматерил Настю и ее дружка: нашли над кем шутковать, а если у бабы случится выкидыш? На что Хвиська бодро ответил, что тогда он самолично дело и исправит.

Хозяйка попила воды из деревянного ведра и шуганула рогачами обоих весельчаков, следом выкинула и взерошенную совушку. Слыш вылавливал деревянной ложкой из теста густые хлопья сажи и добродушно поглядывал на раскипятившуюся молодицу.

Хлопцы и девчата подшутковали и над бобылем Никитой – от его хаты отсыпали через все село узкую коричневую дорожку к высокому порогу старосты, у которого водились взрослые дочери, и громыхнули Никитке в ставню. Сонный бобыль вылез на крыльцо, увидел дорожку и как был в одной рубахе, так и потрусил бодро по коричневой спирали поглядеть, какой же подарок приготовила ему норовистая судьба. Упершись на другом конце села в подворье старосты, ужаснулся и принялся носить руками снег от заборов и засыпать, затаптывать крамольную путевину. Он понимал, что сельский голова не простит ему такой вольный намек.

...Адам не выпускал Василинку из саней, не стеснялся, что на улице людно, как днем. Ехали медленно по обочине, себя показывая и на других поглядывая. К саням подбежали подружки, успевшие к тому времени не единожды согреться вином и пирогами в чужом доме. Запели, намекая:

*Перапёлка-ласточка,
Не летай по дуброве,
Не садись на дубочку.
По дуброве стрельцы ходють,
Сострелить тебя хочуть...*

В дом Василинке той же ночью, воровато приоткрыв дверь, подбросили глиняный горшок с водой. Горшок разбился, и это был знак совсем уже близкой свадьбы.

*Ой, метелица,
Ой, метелица,
Все дорожки замела.
А веселейка,
А веселейка
Едет с любым до села...*

На свадьбе подружки осыпали ее горохом и пересчитали горошины, оставшиеся в складках платья невесты. Нашли целых пять горошин. За восемь лет она и правда родила ему пятерых детей. Отца смутно помнили старшие. В тридцать седьмом, на вечеринке, Адам для пущего форса сбарабил ручкой чужого нагана – подстучал в такт мелодии на большом, из воловьей шкуры облупленном барабане, который достался ему в наследство от кого-то из дядьёв. А через неделю на глухом хуторе вырезали семью Изя-кравца. Этот Изя был известен тем, что на все события вокруг себя смотрел с большой долей мрачного юмора. Когда у него на базаре выудили из кармана кошелек, а через лето уже на хуторе поворовали из коморы

полушубки, он отреагировал одинаково: встал на колени и сказал громко и внятно: «Спасибо Тебе, Господи, что взял деньгами». А тут не только деньгами.

И жена Изи, одесситка, которую ему присватали родственники, тоже была известна в округе своей завсегдашной фразой: «Почему тихо, а почему дети не плачут?» Бедные люди.

На Адама донесли: мол, паренек не простой, при оружии. Был он не из самой бедной семьи, под разрядку вполне подходил, и приехали за ним быстро. Домой так и не вернулся. Хотя говорили, что до города он не доехал.

По-разному она думала о нем. Адамчик к жизни, как она понимала, легко относился. Был шепутным и на всякое дело быстрым. После одного случая прозвали его на селе Шелудькой. Посадив в мешок младшего братка Пилипку, продал на рынке местечковому мещанину вместо поросенка, шепнув, что «свиняtko краденое, поэтому дешевое, и длину его хвоста мерить не следует». Сам и положил весело похрюкивающий мешок в фанерную коляску с длинным, чтобы легко катилась, дышлом.

Мещанин тут же, на рынке, заглянул в шинок – обмыть выгодную покупку, коляску поставил под окном и не спускал с нее глаз. Между вторым и третьим куфлем пива он озадаченно толкнул локтем соседа по столу и спросил, не мерещится ли ему: сам собой развязался мешок, а оттуда вылез худощавый белоголовый мальш лет десяти, схватил дерюгу и исчез. Когда мещанин протиснулся на порог шинка, его покупка настолько прочно затерялась в торговых рядах, что не имело особого смысла преследовать ее среди нескольких сотен повозок с товаром, среди потных жующих лошадей, выпряженных и привязанных к задкам телег, среди разгоряченных торговлей и разморенных жарой людей.

Через неделю незадачливый покупатель все же нашел Адама дома, и тот вернул ему деньги. На мировую они распили четвертушку.

Был Адамусь по-крестьянски хитер и греб к себе. Научил сватов, и те, выторговывая ему приданное за жену, повели дело так, что отец Василинки остаток зимы и весну должен был просидеть в своей кузнице безвылазно, завалившись заказами, чтобы отдать долги, а мать за красными ткала яркие постилки не в пассажнш сундук, а на продажу.

Но шепутной и хитроватшй Адамка не мог поднять руку на человека, она это знала наверняка.

Она не стала выяснять его судьбу. Да и у кого было выяснять? У Глазкова из НКВД? В сельсовете? В глубине души она боялась накликаш беду на детей. Успокаивала себя: раз не сказывается – значит, нельзя ему. Может, от власти прячется. А иногда думалось: может, от нее?.. С годами отгорело в ней бабье, осталось материнское, да и то какое-то спокойное, едва не равнодушное. Обижаясь на Адамчика за то, что бросил, не вернулся, даже во снах в последние годы приходит все реже, она, кажется, переносила часть своей обиды на его детей.

Спокойное... Она всегда оставалась спокойной, пока была молодая. Это качество унаследовала от отца. Большой и сильный человек, он отличался завидной уравновешенностью. В 1920-м, когда в село понаехало поляков, какой-то жолнер захотел сорвать с него староватую фуражку царского гвардейца. Отец поднатужился, поднял свою кузницу за угол и положил фуражку на штандару – бревно, служившее фундаментом. Поляки посмеялись, одобряюще похлопали его по плечу кнутовищем: «Ого-го, пся крев!» Уехали – отец достал фуражку.

У него штандарой, фундаментом спокойствия, была сила. У нее – терпение. Что-что, а терпеть она умела. И детей терпению учила. Только дети, считала она, в Адася пошли, удалые больно.

«Не плачь, не плачь, моя миленькая...»

Из ее песен

*Из-под лесу, лесу темного,
Из-под садику зеленого
Поднималась туча грозная,
Снеговая, непогодливая,
Са дождями и морозами,
Са ветрами да не тихими...*

Все, кто ее знал, хорошо помнили, что сидя на своей скамейке, она как-то тихо, умиротворенно улыбалась. Правда, самые внимательные видели, что улыбка не всегда отражала ее настроение, иногда была только маской, за которой пряталось истинное отношение к человеку.

Но такова эта женщина, что даже тех, кто когда-то в жизни ее обидел, а таких в селе наберется немало, она встречала улыбкой, и улыбка означала одно-единственное: не радость от встречи, а готовность удивиться. Тому, что плохой человек скажет сейчас что-нибудь недоброе про нее или ее детей. Что хороший сделает приятное: угостит яблоком из своего сада или, возвращаясь из сельмага, положит ей в ладонь конфетку в веселой обертке. Что ей расскажут какую-либо новость: сколько мужчины на опохмелку выпили водки за понедельник; кто на этот раз кого сильнее побил – Сидор свою Антонину или Антонина Сидора; кого из доярок зоотехник Вержбицкий «продвигает» в заведующие фермой, чтобы сподручнее было тискать. Колхоз большой, новости есть каждый день. В конце концов она удивлялась одному тому, что про нее еще помнят и подходят поздороваться.

Нет, не все понимали смысл ее извечной улыбки, но все помнили ее именно с улыбкой на лице. Всегда с улыбкой на лице. Непонятно было, снимает ли она улыбку на ночь. Люди говорили: «Порода такая разеватая».

В ее жизни было немало потрясений. Но улыбка, так часто освещавшая лицо еще в детстве, навсегда утвердилась после самого, пожалуй, раннего.

Когда ей исполнилось четырнадцать, отец на Татьянин день отпустил с подругами на вечерки. На этот раз гуляли у Захаревичей, в доме на две половины. Кто шел – нес с собой узелок. У одних там была увязана поллитровка из синего стекла, у других – закуска. Так набралось и выпить, и на зуб положить. Хозяева поставили вдоль стены столы для снеди, сюда ее и сгружали, раскладывали по тарелкам. По запотелым жбанам был разлит квас из погребка. Крупными ломтями нарезаны головки квашеной капусты. К столам прижался высокий чистый мешок белых семечек – их будут грызть целый вечер, ссыпая шелуху из кулака в помойное ведро в углу.

Молодежь к столам не подходила, не положено молодым бражку цедить да жевать на людях – стыда-сорому не оберешься. Грызли в своем кругу семечки, переговаривались, слушали цимбалы и сопелку. Танцевали.

На широкой скамье у стены ровным строем сидели старухи в цветастых платках с махрами – глядели во все, полуслепые, глаза, громко шушукались, добродушно, а то и язвительно посмеивались над всеми подряд.

Подростихи вроде Василинки держались отдельным табунком. Танцевать учились друг с дружкой, в уголке, за висевшим на толстой проволоке ведром с водой, чтобы не мешаться у взрослых под ногами.

Показалось Василинке: как-то по особенному смотрит на нее старый – так ей тогда представлялось – Гришан Потапов, уже осоловелый после общественной медовухи, но еще не обмякший пьяно, не утративший способность соображать. Насторожилась, когда увидела, что Гришан, качнувшись, двинулся к ней, не сводя угрюмых глаз. Гребанул попавших под руку молодых ребят-зубоскалов, те возле девок отирались. Она поняла, что идет он зачем-то к ней, и сначала убежать хотела, только жаль было убежать, да и некуда.

Гришандохнул густо, положил ей руки на плечи, посмотрел загнанно, диковато.

– Вот ты и выросла, кралечка моя. Молодичка-ягодка. Тольки чаго ж похмурная такая?

Руки Гришана помалу сползли с плеч по согнутым, прижатым к груди ее рукам, потом упали на тонкую, детскую талию, и сам Гришан вслед за своими руками то ли падал, то ли приседал, и вот он уже на коленях, и прижался кучерявой, еще не седой головой к ее животу, а ладони сползли Василинке на бедра и сжали несильно, потом застыли, успокоились, и сам он успокоился, приткнувшись к ней, одно повторял оттуда, снизу, глуховато:

– Ты улыбайся, дитятка, тебе до твару. Улыбайся, Ульяночка.

И она улыбалась, не зная, то ли ей заплакать, то ли взвыть от стыда, а еще от жалости к этому доброму человеку, который, она слыхала, давно любил ее мать, да так и не вылюбил ничего, а жизнь – гляди-ка, с горки вниз покатила. А тут новая зорька взошла, да такая ясная, как песня, что в душе живет...

Дядя Гришан всегда вниманием ее баловал. То конфетку на улице в руку сунет, то от пацанвы оборонит – те долго потом Василинку стороной обходят. Малая была – на закорках носил, как встретит. Да однажды отец, увидев его за этим занятием, сказал что-то короткое и злое, и больше он на плечи ее не сажал. Но звать именем матери не перестал – Ульянка, Ульяница.

Последние годы они чаще издали здоровкались. Поклонятся друг другу через дорогу и разойдутся. А вот поди ж ты, всколыхнулось в нем сегодня старое!

Видела Василинка – люди на них со всех сторон смотрят, и она поняла, что одна ей защита – улыбка, и отгородила испуганной улыбкой себя и Гришана от людей и почувствовала, что тем самым обоих выручает. Улыбались люди ей в ответ, шутовали незлобливо. Поднялся Гришан с колен, полез в карман, вытащил яблоко румяное – для зимы, считай, конфетка. Потер об рукав, подал ей.

– Всегда улыбайся, молодичка.

И отошел...

Отец ее стеганул однажды хворостиной. А она улыбнулась из-под растрепанных волос, через слезы – отлегло у отца, опустил хворостину. И решила Василинка: дана ей улыбка на удачу, старалась меньше хмуриться.

Была еще одна причина. В детстве мать будила ее ласково: «Вставай, дочухо, я тебе нешточко покажу...» И она правда показывала дочери то припасенный леденец – это был необыкновенный подарок; то просто горку теплых желтых блинов, лежащих под цветастым рушником на углу свежевывытого, скобленного ножом стола; то подобранную за огородами веточку земляники с маленькими пурпурными ягодами и зелеными резными листиками в росинках. Или только что вынутую из печи вареную картошку с коричневыми пригарками, по краю которых – аловатая полоска. Догадывалась Ульяна, что предстоит дочери жизнь не масляная. Вот и хотела, чтобы умела она радоваться самым простым вещам – хлебу, солнцу, чистой воде, цветам. Разве можно было просыпаться без улыбки, зная, что тебя ждет чудо?

Сельчанам хорошо знакомо ее «Чудо, бабы», сказанное с осторожным дребезжащим смехом, и ее удивленное «Але?», которое звучало как «Неужели?» и означало именно это. Ими она встречала деревенские новости.

Муж был старше Василинки. До того, как подмял ее на санях – под себя, под свою судьбину, они толком и не знали. Видела его, как же, ведала, что есть такой шалопутный, крученый-верченый хорошун с белой головой, до девок и драк охочий. А он, оказалось, тиковал за ней, иногда на вечерах хватал ее за руки, но тут же отпускал, стоило ей взглянуть спокойно, чуть презрительно.

Старшим его признала над собой потому, что напоминал чем-то Гришана Потапова – такой же непутевый и отчаянный. Сам того не подозревая, Гришан, мамкин вздыхатель, в ней женщину разбудил своими руками – она их долго чувствовала, помнила молодыми бедрами. И когда в санях Адашь, едва лошади вырвались из села, проговорил: «Все, ты моя», – и раскидал полы ее полушубка, она только и спросила:

– На один раз?

– Навсегда, – побожился Адам. – За себя возьму.

Сватов прислал через неделю. Отец ее и мать не противились, даже были рады – жили Метельские крепко. Когда Василинке пришла пора рожать своего первенца, свекор самую лучшую на пять деревень повитуху позвал и даже жеребца в телегу запрячь не пожалел, чтобы привезти. Правда, невестке через три дня велел идти в поле, но тогда времена были такие, редкая роженица отдыхала дольше...

Вот говорю: отгорело в ней бабье. А не значит это, что забыла она своего Адамчика. Откуда нам знать все до конца про чужую жизнь? В одно лето, когда было много гроз, у нее спросили, почему она не прячется от дождя и молний, чего ради сидит каждый божий день на скамеечке, кого выглядывает? Что она ответила?

– От так. Чалавека своего жду.

Своим человеком на Слутчине мужа называют, хозяина.

И, уткнувшись спиной-дугой в забор, пропела-проговорила срывающимся старушечьим голосом:

*Сивы коник не пье, не есь,
Дороженьку чуець.
А кто знае, кто ведае,
Дзе мой мил ночуеть.*

*Ён ночуе у каменшцы,
В пуховой перине,
Вох, лежить и еле дыша,
Ко мне письма пиша.*

*«Не плачь, не плачь, моя миленькая,
Я домой вернуся.
Я домой вернуся,
На табе жанюся».*

Кто возьмется утверждать, что она шутила?

Однажды бригадир, подвижный молодой толстячок из примакров, не поверил:

– А нашто он тебе теперь, тетка Василина? Чтоб хворую голову дурил? Как его звали хоть?

– Адамом его зовут, Адасем. За детей, Шурочка, я ему отчитаться повинна. За своих рыжиков. Без этого – живи, старая баба, хоть век, а помирать нельга.

– А вы за него как выходили – по согласию, альбо батяня сказал – и пошла?

– По согласию тагда не все выходили, Шурочка. Выходили за того, у кого земли было много. Ну, я выходила по згоде.

Но если в самом деле и теперь, через полстолетия, ждала она своего Адама, то не так проста была эта улыбчивая старушка, напоминающая деревенского Емелюшку.

Муж жалел ее. То шаль с базара привезет, то ночью у колыски подменит. А однажды, перед тем, как за ним пришли, у Федоса-бортника улей купил. Только потому, что ей захотелось меду. Откуда денег взял, неведомо, и как бортника уговорил тоже. Тот слыл человеком с «мухами» в носу, жил на отшибе, с селом особенно не знался, хозяйство вел по-своему. Печь бревном топил, по-черному. Через окно задвигал бревно в зев печи, когда оно подгорало – подпихивал глубже. И чаду было там, и тепло не держалось, но таков был принцип. А еще один принцип не позволял бортнику продавать ульи. «От этого, – говорил он, – на пасеке пчелыдохнут». Но Адаму продал.

Когда мужа увезли солдаты, старшим среди которых был милиционер Глазков – длиннорукий, с лошадиным лицом, в кожанке, через неделю Федос улей забрал назад, чтобы рой не пропал без догляду. Денег за него дал и меду. А назавтра разбудил ее на рассвете и спросил через окно, с оглядкой: откуда в улье бумаги Иззи-кравца – купчая на десятину земли, разрешение властей на кравецкий промысел? Тех бумаг она не видела, так и сказала бортнику, да и сама потом верила и не верила его словам. Не допускала она мысли, что Федька такое мог, не замечала за ним жестокости, нет.

Для себя она еще тогда решила, что напрасно хотели отдать Адася скорой на расправу «тройке». Напрасно при ней и детях допытывались у него про наган и грозились посадить на угол табурета. И что совсем уж зря засекли солдаты шомполами двух девок на хуторах – Аксеню и Параску, выпрашивая про ту рябиновую ночку. Она всегда ревновала мужа к этим девицам-молодицам, ей подсказывали, что Адам иногда заглядывал к ним. Она то жалела их, то не жалела, но считала, что сестры были ни при чем. Как и ее Адася. Будь на нем вина, она бы ее первой и почувствовала. Она помнила его ласковые руки и не верила, что эти руки могли кого-то удавить. Белый волосом, он был и душой чистый, белый, таким она его разумела и помнила.

И теперь, на закате своего века, она по-прежнему думала, что на хуторе был не он, все подстроили. С чего бы это Федос раздобрился, продал улей? Не из тех. И документы подлюжили, и письмо куда надо написали. Им и без документов Иззиных поверили. Когда Адаську уводили и делали обыск, в улей заглянуть или не догадались, или побоялись пчел. А коли так, бортник решил припугнуть ее. Намекнул, значит, чтобы лишне рот не раскрывала...

Любила ли она Адама? Спроси кто, она наверняка просто пожала бы плечами. В ее времена не принято было говорить об этом. А если вдуматься... Адамка слыл большим хитрованом, но она жила за ним как за каменной стеной, особенно не вслушиваясь в свои чувства. Был он здоровым, сильным мужиком, в доме имел достаток, жена хоть и гнула спину, но видела, что не впустую. Чего еще надо? Дети сыпались один за другим – что годок, то новая радость.

Правда, недолго длилось то везение, на пятом ребеночке и оборвалось. Забрали мужа – даже колыску младшему не успел починить. Сама обновляла свежей лозой, слезами моченой. Вместе с ним во враги народа едва не попала. Но на колхозном сходе на «врага народа» она не согласилась, и как-то обошлось, не прилипло к ней. Может, потому что роду-племени была бедняцкого, работала не меньше других и не успела за короткую жизнь насолить людям, те на нее злости не собрали. И детей на руках – как гороху, а кто ж детей во враги записывает? Замахнулись было на сходе урезать в правах, а как заплакала, следом ее войско принялось

подвывать – отложили вопрос да так к нему больше и не вернулись. Или люди тоже не верили, что на Адашке кровь?

А раз не было принято никакого решения, осталась она в колхозе, по-прежнему бегала на работу, бросая детей то на свекровь, то на самих себя.

Старшая дочь

Из ее песен

*А где ж та пеюшечка,
Что з нами пеяа-ала?
А где ж тая дачушечка,
Что мамку шанава-ала?*

*(От автора: больше одного куплета из этой грустной песни она не пела.
Не могла, плакала.)*

Далекий день на Спаса, когда за селом была вытоптана созревшая рожь, а она, Василинка, спасала свое дитя с помощью пчелиного улья (после этого и получила с легкой руки Арины-беженки еще одно прозвище – «пчелиная мамка»), ей не приснился и не в дурман-забытьи привиделся. Ее старшая дочь лет через пять после войны приняла в примы солдатика, служившего с их односельчанином в недалеком гарнизоне. Сопробовала бабьего зелья, а когда примак поехал погостить на родину да там и остался, снюхалась с Силой Морозовым.

С тех пор, как их связь так громко раскрылась, они перестали прятаться, встречались почти в открытую у Силы на мельнице. Жена Морозова ничего сделать не могла, с ней, он, правда, жил, помогал взрослым уже детям, но от Вольки не отказался.

Однажды, зная, что дочь сейчас у него, Василинка отправилась поздним вечером к Силе на мельницу. Завернула по пути в Клоково – лужок за деревней с тремя красавцами-дубами, рядом негустого кустарника над мелкой, заплывшей землей канавой и шелковистой сочной травой на дне канавы и по всему лужку. В темноте поискала рукой по траве. Сначала попадались только желуди, потом она нащупала, наконец, палые листья дуба. Выбрала самые сухие.

Не доходя шагов сто до мельницы, остановилась – ей нужно было кое-что сказать этим двоим. Но так, чтобы они не услышали, а только почувствовали. Разглядела под дремавшими крыльями ветряка крышу-пилотку землянки и зашептала заговор:

– Господи-Господи! Разлучи, Господи, две душечки, грешную и негрешную. Разведи их чистым полем, темным лесом, топким болотом. Отверни их одное от другого, откосни. Привычное чтоб стало отвычным, приглядное – неприглядным, близкое – чужим, далеким. Царские враты расчинилися, золотые ключи разомкнулися, две душечки разлучилися. Аминь.

Повторила все это несколько раз. Пересилила себя и шагнула к землянке. Воткнула в травянистый ее бок сухие дубовые листья и присказала:

– Листом крученым нехай усохнет у Силы тое, что бабам наравится.

Толкнула хлипкую дверь-весничку, из-под которой пробивалась полоска света и доносились меланхоличное «Ах, майне либе Августин, Августин, Августин...».

В землянке, вырытой мельником для сторожевания неподалеку от ветряка, Сила сидел за низеньким столиком, сбитым из нестроганных досок, и бросив на столик сапог, чинил холявку толстой, сделанной в кузнице иглой, щедро натирая изрезанным восковым шариком суровую нитку. На его лице и руках не зажили следы пчелиных укусов – тех, что достались в поле, и новых, когда назавтра снимал знакомый свирепый рой с высокой груши в саду у деда Захаревича. Дымарил, кропил водой и снимал Сила, кто же еще.

Вольгочка в цветном сарафане приткнулась на осиновый кругляш у махонькой жестяной печки, от которой тянуло теплом, и помешивала в алюминиевом солдатском котелке какое-то

варево. Приторно пахло вымоченными рыбьими головами. На патефоне уже молча крутился черный диск угольной пластинки, с которой сняли головку с иглой, когда услышали, что кто-то идет.

Рядом с патефоном на колченогом услончике ждали своей очереди две или три другие пластинки, они были почерканы гвоздем, а их выцветшие квадратные конверты исписаны расплывшимся фиолетовым карандашом. Лежала горстка дешевых конфет, на земляном притоптанном полу валялись их аляповатые желтые обертки. Коптила газничка и тускло светились стены землянки из желтого, с белыми прослойками, песка.

– Для чаго гэто ты, скажи мне, со свету ее сводишь? – с порога закусила удила Василинка. – Батьку свел, мати чуть в сажалке не утопил, а теперь и дитя сводишь. Что мы тебе сделали? Сараматники вы, сараматники, водой вас тольки разлить, как собак. А ты! Дурница, ну дурница! Бельмачи вылупила! Мырш домой! Что тут тебе надо у етого деда? Не гневите вы Бога!

Дочь ее не послушалась, вырвала руку. Оба они враждебно молчали, и Василинка в слезах ушла назад в деревню одна, унося предчувствие беды.

Ходила Василина и на совет к учителям Желудовичам.

Учителей жило на селе три пары. Кто-то из них слыл добрым, кто-то – умным, а Желудовичиха – злой, била детей в школе деревянной линейкой по рукам. Но однажды в клубе прочитала по разнарядке из района лекцию про семейную жизнь. С той поры считалась специалистом в тонких делах. Мужики, если их собиралось двое-трое, рассмеливались и спрашивали у нее на улице, как лучше предохраняться; бабы – как жить в доме с пьяницей. Вот и Василинка спросила, что с дочкой делать-то. А Желудовичиха ей в ответ: «Как воспитала, так и поспытала». Больше и говорить не захотела, ушла корове сечку запаривать в корыте, выдолбленном из широкого бревна. Видно, не отсердилась на Василинку за давнее.

Лет десять назад, когда эта пара только приехала в Красную Сторонку учительствовать, Василинку заинтересовало, куда это они каждое утро крадутся мимо ее огорода, едва в большой провал между Тимковичским ельником и Бусловским березняком начинает струиться рассвет, достигая первых деревенских изб. Не поленилась, прошла следом, прячась за кустами, подступавшими к самой улке. И негромко всплеснула руками, познав немудреную истину. Прикусила уголок фартука, чтобы не выдать себя икоткой и не испугать хороших людей, побежала обратно, по дороге приостанавливаясь на два-три слова у калиток или с пустоведрыми бабами в переулке.

Назад бедная пара возвращалась как сквозь строй. Тут же, прямо у калиток, учителей вполне серьезно пригласили пользоваться своими покосившимися туалетами старая Рыпина, ее сосед однурукый Трубчик и даже Зина Волосюк, еще раньше отказавшая Желудовичам в квартире. Туалет у нее был особенно кривой, наклоненный, как Пизанская башня, но если там не танцевать, то ничего. Желудовичи во все стороны отвечали: «Спасибо, ну что вы, не стоит об этом даже разговаривать, спасибо, как-нибудь зайдем», – и были вне себя от злости.

Деревня смеялась впокатную. Дошло до бригадира, и он выписал наряд. Прихромал старик Завадский, принес целый карман гвоздей. Посидел на приступке порога, поинтересовался у учителя насчет политики. Походил вокруг избы – бесхозной, которую колхоз отдал Желудовичам – нашел жердей и досок и к вечеру соорудил вполне сносную кабину на одну персону. Первым ее и опробовал.

Собрался уходить – Желудович попросил сделать в кабине вешалку. Старик удивился, но виду не подал. Срезал с груши сухую крепкую ветку, ободрал кору и спилил концы, получился симпатичный сучок. Приколотил гвоздем – пусть, может, человек летом пиджак снимет, чтобы не мять.

С той поры все почему-то считали, что учитель Желудович, заходя в туалет, обязательно снимает брюки и вешает их на сучок, и говорили детям: «Вот наставник у вас – аккуратный человек, а ты? Дристан».

Все тогда закончилось благополучно, но вот надо же, какой злопамятной оказалась учительница. Так и не дождалась Василянка от нее дельного совета.

В далеком тридцать восьмом, через год после того, как Адамуся забрали, в самые голода, молодой мельник Сила Морозов подбрасывал ей по-соседски торбу-другую ржаной муки. Делал это скрытно, но что в селе утаишь? Чего не увидят, про то догадаются. Шепнули Василянке, что вроде как Сила и упек Адамку на отсидку, а теперь совесть мучает, или к самой подкатиться хочет. Василянка всей правды не знала, и стало ей тоже казаться, что какую-то выгоду ищет Морозов, откупного себе хочет получить. Померещилась ей вина в синих Силиных глазах, и тогда она ожесточилась душой, упростила свекра, и тот, знавший грамоту, написал на Морозова письмецо без подписи. Что добро колхозное базарит и на мельнице у него непорядок, мышей и птиц не счесть, учета никакого нету, к старым колхозникам почтения тоже не имеется. Что пьянство там и разврат... Как в воду глядел старик, на много лет вперед – свою внучку с Силой увидел.

Силе «тройка», долго не разбираясь, дала пять лет. Он все их и отсидел вдали от родимых мест.

А потом подоспеет война, и срок на поселение, который ему еще причитался, заменят штрафным батальоном. В одной из атак под Ельней, когда батальон весь полег, так и не взяв поселок, раненый Сила сошел для немцев за убитого, а когда очухался, дополз до погребка в том самом поселке, и его выходила какая-то старушка. Поселок этот несколько раз переходил из рук в руки, половина домов и сараев в нем сгорела, жители ушли, а старуха, на Силино счастье, осталась при нем. Сказала, заметно шамкая: «Вместе со мной помрешь, соколенок. А не помрем, так поживешь ешшо».

Были у него сомнения, навещали темные, недобрые мысли? В его положении, сложившемся раз и на долгие годы, их можно было ожидать. Обида давила за прожитое. С великими трудами построил мельницу – забрали в колхоз. Ладно, хоть мельником на ней оставили. Работал честно – а все равно посадили... Похоже, посещала его какая-то подлая мыслишка: дотошно выспрашивал у бабки о немцах, которые, задержавшись в поселке на неделю-две, беды чинили на годы. Темнел лицом, слушая, и чему-то затаенному в себе качал головой и ругался вполслова, сглатывая из-за бабки окончания.

А бабка, словно что чувствуя, в минуты приступов тупой, тянущей боли в Силиной голове твердила, как дитяти малому: не трусь, оклемаешься, выхожу я тебя до наших, потому как русак ты, русак... Это ее «русак ты, русак» держало его в трезвом уме. Как-то возразил ей, замирая от своих же слов:

– Штрафной я, бабочка, штрафной. Вот какое дело, будь оно неладно.

– Ничо, тако горе. Я вон у сваво деда, царствие ему небесное, светлое, тожа была про-штрахвилася с донским казаком. Отходил, милок мой, вожжиной, ногами попинал да и простил. И тебе простится. Что ж ты, не наш?

– Если в полон попаду – ни за что не простится.

– Не попадешь, даст Бог.

Когда солдатику полегчало и его стало возможным шевелить, бабка в очередной недолгий приход наших отдала его санитарам. Так и расстались. После госпиталей Сила снова воевал, уже в обычной пехоте, дослужился до сержанта и домой пришел с медалью. Обиду на сельчан не затаил, война вымела все обиды из его души железной щеткой. Мужиков на селе заметно поредело, и когда понадобилось пускать ветряк, собрание опять определило его туда хозяином.

Бесхлебной весной 47-го Василюшка с детьми выживала только на напаренной в печи брюкве да на щах из крапивы. И он снова, как когда-то до войны, постучал утром в окно и поставил у порога маленькую торбочку с зерном. И опять Василюшка расценила это как попытку загладить какую-то давнюю вину, в душе еще раз колыхнулось недоброе. Но к тому времени она была учена жизнью, видела горе и слезы и знала цену человеческому несчастью. До доноса дело не дошло. Да и свекор совсем состарился, у него были проблемы с властями – несколько раз ходил в район держать ответ за то, что при немцах староствовал. Не зло, безвредно староствовал, но брали и таких. Старого Метельского, пожалуй, спасла его очевидная немощность. Так что писарь он теперь был неважный, сам сидел тихо, как рудая мышь под кухонным веником.

Но Силю Василюшка все же отблагодарила. Когда тот в очередной раз принес свою торбочку, теперь уже с ржаной мукой, она осыпала благодетеля содержимым торбы с ног до головы.

– Дурница припадочная, – психанул Сила. – А своих рыжих сморкачей чем кормить думаешь, ага? Розуму нема – считай, калека.

– Дурница – это ягода такая, Силюшка. Буяки называется. И еще она называется голубика. От ею и кормимся.

Он ушел с ее двора белый как лунь и злее цепного пса. Только у занюханного цепного пса, морда которого завсегда в помоях и репейнике, мог быть такой обиженный оскал. Мука ссыпалась с него легким флёрком и оставляла след, с головой выдавая перед селом. Набежали кудахи и дружно принялись грестись, и очень скоро перемешали муку с дворовым желтым песком.

Когда проснулись дети, они упрекнули ее и вместе поплакали, то ли от голода, то ли от вселенской обиды.

Старшая дочь. Продолжение

Старательно порывшись в голове, Василинка припомнила, как в один послевоенный год, в прохладную августовскую ночь, сторела Силина мельница. Стояла она в чистом поле над дорогой, на высоком бугре, где ветер тешил свою силушку. Вот и натешился влать. Не успели на селе снарядить пожарный тарантас, как гулючее пламя охватило весь ветряк, и огненные его крылья показали тем, кто смотрел из Яковиной Гряды, Христовым распятием.

Деревня только тогда и проснулась, когда загорелись крылья и стал виден огромный огненный крест. Выскакивали из домов от пронзительного звона куска рельса, по которому беспрестанно колотили железом, схватывали взглядом багровое небо на юге и холодели от этого зловещего костра, который мог означать только одно: тот хлеб, который ты собрал на своих сотках и отвез Силе в работу, пропал, и никто тебе его не вернет. Стонуше ругался бригадир Терешка, у которого на мельнице остался под отчетом не один десяток пудов зерна, угождать на Соловки за эту пшеницу ему не хотелось.

Стоя на пороге в ночной рубашке, накинув на плечи большой платок и вслушиваясь в растревоженные голоса на всех трех улицах села, Василинка вдруг уловила чей-то крик у колхозной конюшни, чью-то заедь:

– Он тамака проспал все на свете с этой шкуррой, поглядите их в землянке.

– В огонь их, бя... к хлебушку. Обоих, обоих нахрен.

Обомлев, она бросилась назад, в хату. Нет, Вольгочка была здесь, ночевала сегодня дома, под клетчатой постилкой примостилась на полатях у самой печки, младшая сестра обнимала ее белеющей худой рукой.

Мать опять неслышно вышла, только губы шевелились. Длинным железным ключом, который заныривает в круглую узкую дырочку в ушаке, закрыла дверь на засов, в сарае с трудом вырвала из слежавшегося навоза вилы-рожки, прихваченные по зубьям ржавчиной, и встала с ними на пороге, всматриваясь в разгорающийся пожар, напряженно ловя голоса деревни и веруя, что никого в дом она не пустит, если за Волькой придут. Они уже попробовали бить ее во ржи, теперь им легче будет прийти.

Чего ей стоило это жуткое ожидание долгой тревожной ночью, когда стынут в руках тяжелые вилы-тройчатки и зорька не скоро, на зорьке прийти не посмеют, – одной ей известно. Только и тогда, непонятная ей самой, нет-нет да и гуляла по лицу какая-то нервная, недобро тянущая книзу уголки губ, улыбка. Она, Василинка, готова была и улыбнуться просительно первому, кто забежит к ней во двор, и всадить в него ржавоватые вилы.

Пока пожарная команда ловила в ночном ленивых лошадей, запрягала в бричку с насосом и в телегу с огромной бочкой, пока заехали на сажалки за водой и, наконец, прикатали по вязкому песку полевой дороги в горку, осталось только помочиться на угольки, чтобы закрыли свои злые волчьи глазки. С досады поруйновали уцелевшую закоптелую землянку – раз негде больше Силе зерно молотить, пусть некуда будет и молодайку водить.

Сам он курил в стороне, отрешенный от всего, ожесточенно ковырялся в длинном носу и нешуточно переживал. Опасался, что за эту мельницу и за это зерно упекут его в недоброй памяти места.

Тушильщики, а за ними мужики и бабы, собравшиеся на пожар, уехали на возах, громко обсуждая происшествие и ругая Силу: одни – так, чтобы он слышал, другие – чтобы нет. Было утро, пора доить коров. На смену набежали проснувшиеся дети. Среди них прошла, как метла по сусекам, большая паника, что на сполыхавшей мельнице рассыпано много медных грошей, и кто не проспал, тому меди достались полные карманы. Молва повымела из домов всех – и рыжих, и темноволосых, и гологоловых. Ходили крикливыми стайками по большому черному

пепелищу. Те, кто привычно сорвался из дому босиком, подпрыгивали на курившихся легким дымком из-под толстого слоя золы, еле заметных головешках.

Ковырялись палками в обгоревших кусках дерева, поплавившегося стекла, толстой проволоки, в вычерненных огнем железных шайбах и болтах, втроем-вчетвером отворачивали закопченные камни, но денег не находили. Толпились в сторонке, на росной траве, слюнявили обожженные подошвы ног и громко спорили, кто первым поднял панику про медяки – Колька Немец или Колька Сидор, кого из них бить, бить да приговаривать? Наглядевшись на пустое, горелое место, шли ватагой домой, встречали дорогой новый косяк искателей сокровищ и подзадоривали, позванивая в карманах остывшими железками.

Комиссия из города Силиной вины в пожаре не нашла. А на селе говорили по-разному. Одни намекали на жену Силы, кто-то поздним вечером на дороге к мельнице встретил ее тихую тень. Другие указывали на Василинку, они не знали о ее алиби – дежурстве с вилами-тройчатками на крыльце.

Но больше всех от пожара пострадал-таки Сила: работать стало негде. Лишившись мельницы, он ничего другого по душе не подобрал, перебивался на сезонщине, стал сдавать и скоро выглядел совсем стариком. Вольгочка постепенно отошла от него.

Беспокойная была, нервная. Василинка понимала, что надрожавшись за войну, она хотела обычной человеческой ласки, немного бабьего счастья. Растила сына от того самого дружка-солдатика из слущкого гарнизона, с которым даже расписалась в сельсовете. Василинка как-то предложила ей поискать пропавшего после дембеля папашу. На письмо солдатик отозвался с родины, недалеко Смоленщины, покликнул к себе. Вольгочка поехала одна, без сына и вещей, в разведку. Через неделю вернулась из тех гостей. Сказала матери:

– Пьяница горький. Горезный пьянюга, все в доме пропивает. От тебе и красавец. До моей шали добрался.

Стали жить по-прежнему. Накопили немного денег – мать построила бездолице хатку на поселке, за магазином. Как-никак, взрослая женщина, с ребенком, своя семья, и хата своя должна быть. Может, и прибьется со временем какой примак, а то в их дом постороннему мужику не зайти, столько там толчется веселого народу.

И села Волька на свой двор – сына растила, примака выглядывала. Не много их шло большаком, а если кто и заворачивал, то ненадолго. И очень скоро была она согласна повторить судьбу матери.

Занудилась Вольгочка. Навещая ее, мать часто заставляла дочь сидящей отрешенно у окна на кухне, откуда видна сельская улица. Казалось, посадила та себя в угол и забыла, куда подевала. Мать даже в голове у нее искала, не завелась ли от тоски какая живность. С печалью думала, что даже в самой неудавшейся бабе всегда живет Женщина.

– Знаю способ от нуды, – сказала ей однажды. – Надо набрать в горшочек речной воды. И ни одной капли не пролить. А за водой пойдешь – ни с кем не говори. В воде этой – ты меня слышишь хоть? – зелье напарить, девятарник, а горшочек тестом залепить, получится отвар. Отваром я тебя обмою вечером в чистый четверг. За девятарником парят центурию, а за нею еще одну серенькую травку, я ее знаю, в жите растет... Хочешь?

– Способ хороший, – лениво отозвалась Волька. – Тольки...

– Ну?

– Банщик не той.

– У дурного соловья дурные песни. Не наговаривай на себя, девка. Хоть сама на себя не наговаривай. А то по селу и так гомона... Не одна ты теперь такая, много стало охотных на чужое. Люди и боятся. Грех.

– Война перемешала свое и чужое. С нее спрос. Так что пошли они все со своей гомонной... Свиньям в задницу. Гомона.

Чтобы переменить тему, Василинка заговорила о другом, далеком.

– Все спросить хочу, да забываю. Помнишь, в войну, в самом начале, в село немцев понаехало, двое во двор приходили. Высокие такие, наглые. Один рыжий был. Вы в хате носами стекла оконные вытирали, а потом взяли и вышли. Как кто за руку вывел. Чего это вы, а? За меня испугались? Не отворачивайся, донька, говори. Ты старшая, должна ведать.

– Да не, – махнула рукой Вольга. – За себя. Нам с тобой всегда смелее было.

– От босяки, – разочаровалась Василинка. – А я думала, что за меня.

– Как ты считаешь, – равнодушно спросила Вольга, – почему он тебя тогда не снахалил? Вроде мылился.

– Еще не хватало, – озлилась Василинка. Потом раздумалась и ответила. – Может, вас постеснялся, не захотел детского крику на всю улицу. То й добра, а то бегал бы сейчас по двору сморкатый Гансик, как у Ганули придурковатой с поселка.

Обе нервно рассмеялись.

– Все равно сволочь, – зевнула Вольга. – Напугал.

– В общем, ты не нудися, девка, – подвела итог разговору мать. – Нуда хужей за коросту.

И правда, сельские на Вольгочку как клеймо поставили, чураться ее стали. Мужики разговаривали с ней с насмешечками. Бабы – те ее откровенно заопасались. Чужих мужчин на селе не стало, значит, за своими очередь? Они так понимали. Новой волной пошли пересуды. Кто мельника Силу вспомнил Вольке, а кто и спившегося отца мальчонки. За что было винить, людцы добрые?

Это была настоящая травля. Каждый день кто-нибудь из баб помоложе присаживался к матери на скамейку и докладывал новую сплетню в расчете, что мать понесет ее Вольгочке. Мать поначалу носила, потом поняла, что к чему. Сказала дочке: пора хату в Слуцке торговать.

Вольга к этому времени тоже пришла к выводу, что от Красной Сторонки ей ничего хорошего ждать не стоит. Продала хатку переселенцам, купила себе времянку в городе и устроилась на льнозавод.

Сыну ее едва исполнилось десять, когда Вольгочка заболела. Потом оказалось, что это самое худшее, и она угасла, так и не дождавшись от мира ласки к себе и тепла. Любовь только двоих самых близких людей – сына и матери – скрасила ей последние дни.

Вольгочку привезли хоронить домой, к дедам. В сыру землю положили рядом с могилкой ее второго ребенка, который когда-то не дотянул до месяца. Был он, судя по всему, от Силы, которого часто потом видели у обоих холмиков. Но если приходила Василинка, он поднимался и шагал прочь. Как-то ей захотелось поговорить с ним, она спросила про больную ногу – Сила молча выслушал, искоса глядя на валявшийся под забором кладбища велосипед и ничего не ответил.

Все годы после войны Василинка варила на Коляды кутью – пресную ячменную кашу, и кормила ею своих. А на окно клала кусок пирога и ставила чашечку со сладким чаем для умерших дедов. Теперь рядом с чашечкой появился мелкий граненый стаканчик с красным вином для Вольгочки.

Сын ее охотно вернулся из одичавшего и немилого угла в городе назад к бабе Василине и жил у нее, пока не ушел в солдаты.

Старший сын

Из ее сказок

А хочаиш, детки, я тебе про красавца Байду расскажу? Еишо бабка моя Калина рассказывала за польским часом. Будешь слухать? Ну от. У Слуцку колись Косы мосток стоял, а на ём – лавки, шинки, забегаловки. Сидел у таким шинку Байда-красавец. На доброе дело собирался. С купцом торговать, а то и девку сватать. А тут люди закричали: «Татарин едет, татарин едет, ясык собирает». Укметил татарин Байду, понравился он ему. И говорит: «Ну-у, Байда, хочешь быть богатым? Бери мою дочку-князевну». А Байда в ответ: «Дочки твоей мне и даром не надо, у ней вера не нашенская». Князек от так хлопнул в ладони, слугам моргнул. Схватили Байду, на рынок слуцкий привели, кол гострый поставили. Посадили проклятуице Байду на кол. А он, пока не помер, поднял глаза, посмотрел на небо. Там утки косяком летят в вырай. И сказал князьку татарскому:

– Вели дать лук и стрелы. Дочке своей отвезешь утицу от меня.

Дали татары Байде лук и всего одну стрелу. Плюнул он на стрелу и пустил князьку прямо в поганый лоб. Так вместе и сконали – князек татарский, который за ясыком в Слуцк приезжал, и Байда-красавец. От, детки, раней страшно было.

В старшего сына она вложила больше всего сердца. В старшую дочь и в него. Остальные мало что понимали в ту пору, когда она ими еще занималась. Тогда она считала, что детей надо наставлять, и у нее хватало на это сил. Потом пошли война, недороды, голода, а после войны, когда чуток полегчало, ей вспомнилось вдруг Гришаново:

– Ты улыбайся, молодичка, тебе до твару. Улыбайся, Ульяновка...

Гришана Потапова немцы затравили собаками в тот проклятый день, когда пришел из отряда помочь своим отсееяться. Посеяли – затопили баньку. Вышел из баньки распаренный, во влажном исподнем, переставил вилы из-под ног в угол и только тогда поднял голову. А во дворе сидят и гергечут, его ждут. Значит, подсказал кто-то из добрых людей... Поманили к себе: «Ком». Карабин, палочка выручалочка во всех бедах, остался в хате. От отчаяния и обиды, что вышло по-глупому, крутанул Гришан рукой «мотовило» перед белыми кальсонами и кинулся в огороды.

Бедный Гришан не подозревал, насколько уязвил самолюбие гордых завоевателей понятный на всех языках жест. Было их во дворе двое. Один – уже в годах, невысокий ростом и полный, даже толстый, с редкой по тем временам металлической фиксой на верхней челюсти и жидкими усиками, которые прикрывали эту красоту. Другой, помоложе, высокий и худой, обходился без фикса и усов, зато курил трубку. Объединял этих разных солдат холодный прищур одинаково равнодушных глаз.

Усы и трубка были больше для самоутверждения, равно как и собаки, при которых они служили. С собаками на войне им жилось легче, собаками можно было прикрыться, выставить вперед и самим под пули не лезть. Или под вилы, если бы этот человек из лесу опять вздумал взяться за вилы.

Огорчил их ясный любому мужику выверт. Они и подниматься не стали. Расстегнули на запястьях ремешки, что удерживали собак, только и всего. Две черные овчарки ростом с

теленка. Чужая губная гармошка во дворе пиликала. Под эту странную, как будто потустороннюю, музыку Гришан душил одного теленка, другой прорывался к его шее...

Никто другой больше не звал ее Ульянкой. Потому что Ульянкой была ее мамка, которую Гришан любил, и бабка ее тоже звалась Ульяницей.

А завет Гришана остался. До него ли было в те годы? Только потом, когда солнце увидела да хлеба в ее огороде взошли, распрямилась Василина, начала снова людям улыбаться. И как-то меньше задумываться – о жизни, о детях, о себе. Жизнь установилась одна – вся в работе. Ничего кроме работы она не знала. А дети... Не всегда накормлены, не всегда обуты, но уже дрожать за них не надо, никто в них из винта не выстрелит.

Да, в эти первые послевоенные годы она жила как-то бездумно. Ей казалось: главное перемучили, страшное миновало. Оставило рубец на сердце, но миновало. А остальное само собой поробится.

В ту пору было много работы, и она ее делала. А работа не оставляет времени думать. Лупи мотыгой по сухой земле – поле сурепкой заросло, и бить надо неделю от темна до темна, не забывая нагибаться и вырывать, нагибаться и вырывать, нагибаться и вырывать, отбрасывая зелье в борозду, чтобы потом пройти с кошами и собрать. По малой нужде некогда было отлучиться за куст. Стыдно кому сказать, но так ее и справляла – за работой, пошире поставив ноги, а ноги закрыты длинной юбкой.

Греби себе сено с утра до вечера, в колхозе поле широкое и трав много, а скотина зимой в колхозе голодная, все съест, солому с крыш тоже. Вечером надо бежать, постараться сгрести то, что сосед за бутылку самогона срезал косой, да сбить в копы и как-то ухитриться найти лошадь с повозкой и привезти во двор до ночного дождя. И уже при разлитом лунном молоке затолкать корм для своей коровки на чердак, под голые стропила – глядишь, и сараюшко заодно прикрыт. Так что думать совсем некогда. Думать – это роскошь.

Работа шла такой плотной чередой, что всю ее переделать было невозможно, и все же с главным как-то успевали, по-соседски да по-родственному поддерживая друг друга. Над Василинкой подшучивали, кивали на икону Матери Божьей Троеручницы в чистом углу: это тебе помощница пособляет, а у ней – три руки, иначе ни за что бы не успела. Жалеючи, звали ее с поля домой:

– Хадзем, Вася, до хаты. У Бога дзён больш, чым у пана килбас. Всех грошей не заробишь. Иди корову подой да хочь молока глымани.

– По молоку ног не поволоку, – отмахивалась она.

А в редкие праздники село доставало из погребков запотелые трехлитровые банки, повязанные полотняной тряпочкой, и впадало в другую крайность. И плакали тогда над своей судьбой одинокие женщины и искалеченные фронтовики. И благодарили свою долю, потому что остались живы. И проклинали, потому что душила работа, а еще крепче – злая боль-тоска по мужьям и сыновьям сгинувшим. По молодой невозвратной своей силе. А была она, боль, свежая, и поминальную рюмку пили в каждом доме. Рядом с чьей-то плачущей матерью сутулился участковый, чья сердитость вынуждала людей в обычные дни прятать трехлитровики в схорон, и тоже ронял скупую слезу в стакан, а от этой слезы, мужской, скорбной, была самогонка еще горче. У участкового в войне осталась семья.

Где война, где горе, там не обойтись без зелен вина. Те, кого оно согревало в сырых стылых окопах, кому помогало давить в себе страх, кого лечило от простуд, чирьев и ран в гнилых лесах, чьи изболевшиеся, искалеченные души успокаивало теперь, принесли его в мирную жизнь.

Все войны, сколько их ни случалось в старухе Европе, топтались по земле Белой Руси. Как лава старательных косарей с тяжким стоном выбривает созревший клевер, так и всякая новая война тщательно выкашивала каждое новое зрелое поколение – под корень, под корень,

под едреный корень! И приносила в своих ягдташах и переметных сумках вино. Потом солдаты уходили или их убивали, а вино каждый раз оставалось.

Вот почему сегодня на этой земле столько вина.

Знать бы... Знать бы, сколько душ оно загубит уже в мире, а и то – отказались бы?

Потом она думала: не тогда ли упустила своих всех разом? А ничего-то не вернешь, зови не зови.

Знай мать наверняка, что ее работа, которая была сродни дурнопьяну и валила с ног так, что она не успевала слова путного сказать старшим, а младших хотя бы обнять, приласкать, – отказалась бы от нее во имя детей? Лучше полоске жита стоять несжатой, чем головке младшего остаться непоглаженной? Одно во имя другого, и одно исключало другое.

Отказалась бы от торопливого, мимоходного застолья у кого-нибудь из подруг, после которого тело приятно тяжелело, а в голове начинало пульсировать благостное: «И я человек, а не только лошадь-ломовуха, и у меня есть радость, иэха, бабоньки, споема, что ли? Ваши, может, и сыщутся еще, а мой-то уж нет. Кто там что про детей говорит? Не пропадут. Есть захотят – костерок во дворе разведут, картохи в чугушке сварят на тройнике». А мамка, выпимши да с песнями домой придет – спать уложат. Посидят в уголочке молчаливо, на нее, спящую, поглядят, успокоятся и тоже по своим норкам разбредутся.

А может, душонки их зыбкие хотели, чтобы она чаще садила их вокруг себя, обнимала за плечи ближних и начинала сказывать, как иногда сказывала:

– Как во славном граде Киеве жил сабе Владимир-князь, он во доме благочинном, своей каменной палате, и имел двенадцать чадов...

А где взять было для этого время, а силы?

На одно у нее находилась минута, если являлась домой хмельная – отыскать в темной кладовке, под пустыми мешками, тот самый проклятый барабан, из-за которого пропал, сгинул Адам. Сесть на полати, зажать барабан между молодых колен и погрохотать всласть по вытертой коже отполированной человеческими ладонями палкой с набалдашником на одном конце и сыромятной петлей на другом – чтобы палка не улетала из рук. Ей не нужна была гармошка, фоном служила сумеречная мелодия, жившая в ней. Какие-то темные уголки ее души требовали этого ритуала, никому не понятного и мрачного по своей сути.

Дети относились к таким проявлениям ее музыкальных пристрастий спокойно. Какое-то время терпели, потом аккуратно отнимали у матери инструмент и уводили ее спать. Она не противилась, отдавала свою забаву и плелась в дальний угол, чтобы назавтра быть на ногах еще до рассвета.

Позже, на трезвую голову, она поймет, что война своим эхом еще не раз докатывалась до них, еще не раз доставала их своим длинным бичом, что это война сделала ее блаженной и слепой. Впрочем, изуродовала их каждого по-своему, как и миллионы других людей, живших в пору войны или даже пришедших в мир после.

Но чтобы понять это на старости лет, ей понадобилась вся жизнь. Вся ее жизнь, приходящая к ней теперь видениями.

Старик бежал тяжело, медленно, путался ногами. В его годы особенно не разбежишься. А автоматная очередь, которая их обязательно выдаст, все гуляла под высоко задранными юбками сосен.

Знакомый лес не давал бежать. Как скандальная кобета, цеплялся сучьями за полы козушка. Дышалось и без того трудно. Громче скрипа снега под валенками било из груди сиплое «хы-гыы, хы-гыы». Напарник моложе, его сутулая спина в черном ватнике подпрыгивает среди деревьев далеко впереди. Уйдет за кордон один, а ты потом хлебай кашку за себя и за

него, хлебай. Пришло время спастись от смерти, а ноги совсем ватные, не хотят на чужбинку, не-ет.

Старик на бегу затравленно повел головой, окидывая торопливым взглядом то, что ему предстояло покинуть навсегда, и неожиданно для себя уцепил рукой промелькнувшую рядом, уходящую от него березку. Рвануло назад, занесло вокруг тонкого ствола, он споткнулся и упал на колени. Постоял на коленях, пока отдышался, поднялся, оскальзываясь руками по налипшей на бело-черную рубашку дерева острой ледяной корке, до крови разрезая ладони. Побрел, сутулясь, по своим следам назад, сначала медленно, потом заторопился, затрусил прочь от кордона.

На потоптанной людьми поляне заправленная в сани лошадь жевала за бок стожок летнего сена, и снежная висючая шапка на верхушке стожка медленно кренилась набок. Старик влез было в сани и, стоя коленями на охапке соломы, задергал вожжами. Пока сани выворачивали к просеке, в поле его зрения медленно и страшно въезжал человек, распластанный в стороне от стожка. Старик и замечать-то его не хотел, а он помимо воли лез в глаза. Взгляд сам помалу подбирался к лежащему, пока не остановился, не замер на нем.

Старик выбрался из саней, и лошадь, прижимая уши, стала отступать, испуганно пятиться назад, в сторону. А старик всматривался в проколотого вилами человека и не мог понять, дышит тот или уже нет. Удивился: сколько же солдатик полз, пока добрался до своего ППШ? Напарник отбрасывал ППШ далеко, к кустам...

Подошел, наклонился и напоролся на взгляд из-под полуприкрытых век.

– Дед... с-своло...та-а...

Старик засуетился, отводя глаза, выискивая ими лошадь и невесть где бежавшего теперь напарника.

– Тишанька, хлапец, тишанька. Не надо тебе гомонить. То не я, то Олекса. Он пырнул тебя вилами.

– Авто-ма...

– Тут он. А вот он, во.

– Шу-ми, – сказал обессиленно, с придыхом, солдатик.

Старик понял, чего от него хотят, взял с опаской с земли тяжелый ППШ, поднял стволом вверх, и опять гулкая очередь пошла гулять по лесу, пугая птиц.

Это тоже было одно из самых злых видений, мучивших ее долгие годы. Так по рассказам сына она все представляла. Жители прикордонной деревушки в Западной Украине попросились у заставцев забрать сено, припасенное летом в погранполосе. Не сено им было нужно, не сено.

И всегда ей почему-то казалось, что лицо у старика – Адама, только годы изменили его. И выговор Адамов, немного глуховатый, как в трубу. Может, ей так казалось потому, что старик не тронул ее сына, а послушался его и позвал помощь, тем самым спас Алексея.

Она еще долго сама выхаживала своего старшего после госпиталя. Запаривала ему травы, отдала в пользование большую кружку – обрезанный латунный стакан от снаряда с наклепанным в кузнице ухом, и поила из нее сыродоем. Войдя помалу в силу, он женился и отделился от своих – купил дом на давно обезлюдевшем хуторе, том самом, где когда-то разорили гнездо Изи-кравца. Из пяти усадеб остались две, они пустовали. На месте других покрывались зеленой слизью камни фундаментов да вращались в землю остовы давно остывших печей. Печь Изи одна во всей округе когда-то была отделана кафельными плитками, и теперь каждый раз после дождя изразцы светились умытым, чистым зеленым светом и странным образом оживляли унылую картину глухого хутора.

Поначалу Алексей куковал тут вдвоем с молодой женой. Было им спокойно, отдаленно от мирской суетности. Потом незаметно лес все больше начал входить в их существование своими шумами и тревогами. Стало муторно, и Алексей сманил во второй пустовавший дом дружка, тоже семейного и без своего угла, и хуторок продолжал жить.

Василинке этот хутор был не по нутру. Из-за него осталась без мужа, из-за него ее жизнь побита на сплошные сомнения: замешан ли Адамко в тех давних темных делах, кто он такой был и есть, если есть, и где он прожил все эти годы без них, и отчего не сказывается, если цел, и почему ее судьбина пошла таким путем, а не как-то иначе, хорошо еще, Бог детей послал, было на кого себя тратить.

И правда, хуторок дался им всем в знаки.

Потусторонность

В год, когда сначала взяли Адама, а потом еще многих из их села и других сел, в тот год на липах, которых всегда было много в Яковиной Гряде, поселились вороны. Их было совсем мало, поначалу они сидели на верхних ветках смиренно, как старухи-монашки в черных одеждах, и никто не обращал на них внимания. Они и раньше здесь появлялись, потом исчезали, или крутились где-то поблизости – к ним привыкли и не замечали.

Но на этот раз то были какие-то особенные вороны. Они стали размножаться, и скоро, года через два или три, облепили снизу доверху все деревья в Яковиной Гряде, стали носиться над селом, как будто это они, груганы, были в нем хозяевами, а не люди. Они выстраивали в ставшем тесным небе свои жуткие клинья и круги с рваными краями, живые фигуры этого вороньего пилотажа изменялись мгновенно и неотвратно, все это выглядело какой-то угрожающей демонстрацией силы. Нечистой силы...

Вороньи стаи жили по собственным законам, они летали по своим важным делам, сначала просто не обращая внимания на людей, потом даже как бы пренебрегая ими, и чем дальше, тем более агрессивно себя вели. От их беспрестанного наглого, громкого карканья не стало сил дышать, люди не могли понять, в чем дело, что мешает жить в своем селе. Пока вороньи стаи не обнаглели до того, что начали гадить на головы, никто уже не мог пройти по селу, чтобы остаться чистым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.